

I. Общество

Утреннее летнее солнце поднялось высоко над Стара-планиной. Лучи зари потоками хлынули в круглые решетчатые окна церкви, преломляясь в висящих под сводом хрустальных паникадилах и рисуя на противоположной стене чудные разноцветные узоры. Храм был полон молящимися, над которыми витали облака дыма от кадила о. Ставри и мелодические звуки сладкоголосого Хаджи Атанасия, уже допевавшего новое «Достойно», глас пятый. Звонкие голоса учеников, стоящих у аналая, под руководством главного учителя Гатю тянули привычный распев. На другой стороне помощник учителя Мироновский, псаломщик, подтягивая густым басом, притопывал в такт ногой и кидал исподтишка взгляды на решетку, за которой стояли женщины. Возле шумного пангара, на тронах¹ сидели в богатых длинных шубах представители местной знати, умиленно внимая сладкозвучному пению Хаджи Атанасия и тихонько ему подтягивая. Часто внимание их отвлекалось появлением новых богомольцев и набеленных богомолков, ставивших свечу архангелу Гавриилу или шедших приложиться к алтарным иконам.

Хаджи Димо, прервав пение и наклонившись к чорбаджии² Петраки, шепнул ему:

— Погляди на этого старого скупердяя: свечу грошовую поставил, а поклоны земные кладет, поклоны-то ничего не стоят...

И стал снова подтягивать.

— Да, уж скряга так скряга, — шепнул ему в ответ чорбаджия Петраки и опять запел.

Известный ростовщик Котю Джамбаз, обернувшись к трону, на котором восседал Хаджи Христо Молдав, тоже зашушукал сердито:

— Погляди, Гика Махмудка, жена негодяя этого, свечу ставит... Ее в тафту да в египетский шелк одел, а мне вот уж три с половиной года семьсот шестьдесят один грош, что за ним еще числится, заплатить не может. Скотина!..

— Форменная скотина! — отвечал Хаджи Христо Молдав.

А богобоязненный Хаджи Аргир Измирли кидал свирепые взгляды на аккуратно причесанную, напомаженную молодежь, которая входила с большим опозданием и только крестилась, но не ставила свечей и не прикладывалась к иконам.

— Рачов-то сын как вырядился — видишь? Будь я султан, всех бы протестантов прикончил... господи помилуй.

И перекрестился.

— Господи помилуй, — отвечал собеседник, тоже крестясь. «Достойно» окончилось, и помощник учителя Мироновский начал уже

1 ...возле шумного пангара на тронах. — Пангар — место в церкви, где продаются свечи, троны — стоящие вдоль стен церкви кресла, на которых во время богослужения отдыхали богатые прихожане.

2 Чорбаджия — в данном случае (как и в ряде последующих) — член руководства городской общины — органа местного самоуправления, подчиненного турецкому правителю города.

вступление к причастному стиху, глас осьмый.

Но скоро отошла и обедня, и последний жалобный аминь о. Ставри потонул в шуме благочестивой толпы, теснящейся у входных дверей, чтобы поскорей выйти на паперть. С паперти она потекла между двумя длинными рядами нищих во двор, а оттуда на дорогу. Затем часть ее повернула к женскому монастырю — делать визиты. В монастырской церкви службу нарочно кончали раньше, и старая мать Нимфодора уже ждала у себя в келье гостей, чтобы попотчевать их новым апельсиновым вареньем; мать Евдокия — чтобы узнать, действительно ли у Павлаковых на этой неделе помолвка; мать Соломония — чтобы попросить помощника учителя Мироновского дать ей после обеда урок французского языка; мать Секла — повидать Николакицу с дочерью, причем тут же к ней как бы случайно зайдет и господин С. — поглядеть на Еленочку; мать Евгения Полидора — чтобы рассказать своей многочисленной родне о вчерашней ссоре Ивана Поляка с женой из-за того, что он не купил ей такой же бухарестской шляпки, как у Теофаны, и о том, какие она ему говорила обидные слова и как свекровь гонялась за ней по саду с веретеном в руках.

Стоявшие возле пангара первые люди города вместо того, чтобы последовать за остальными, пошли в другую сторону: они поднялись по лестнице, ведущей в женское училище (которое находится на церковном дворе), в просторную комнату — обычное место собраний общины.

Совещание длилось долго. Наконец оно кончилось, и именитые горожане стали шумно спускаться по лестнице.

Скоро весь город узнал, что состоялись выборы попечителей учебных заведений и что в числе избранных оказались Варлаам Копринка, по прозванию Тарильом³, и Иван Селямсыз. Новость эта вызвала большое удивление, так как всему свету было известно, что оба они видеть друг друга не могут по причине старинной вражды из-за водосточной трубы — вражды, перешедшей к ним по наследству от их отцов. На этом основании дед Нистор, старый цирюльник и человек строгий, затянувшись хорошенько трубочкой и наполнив дымом всю кофейню, весьма рассудительно промолвил:

— Плохо дело... И Тарильом и Селямсыз — оба люди ученые и почтенные, но между ними нет согласия; а коли нет согласия — проку не будет.

— А я вам говорю, что они сегодня договорятся, обязательно договорятся, — возразил Хаджи Смион, сидевший напротив.

— Почему ты так думаешь? — спросил дед Нистор.

Все устремили свои взгляды на Хаджи Смиона.

— Потому что, — начал Хаджи Смион, сняв левый башмак и быстро перебирая четки, — потому что, когда два человека, — будь они попечители, торговцы или кто другой, — делают одно дело —

³ Тарильом — название греческого танца, распространенного в болгарских городах в описываемую эпоху.

понимаешь?.. так им ничего не остается, как договориться... Это само собой ясно.

И Хаджи Смион снова надел башмак.

— То есть как это — ясно? Вот ты, Хаджи, попробуй — заставь свою Катанку с Англичанином договориться. Хоть они с одного стола едят и хозяин у них один и тот же, а кошка все: ффф! а собака все: ррр!

— Это правда. Третьего дня Англичанин чуть не задушил Катанку, — сказал Хаджи Смион, усаживаясь по-турецки.

— Тарильом готов ждать до второго пришествия, лишь бы не мириться с Селямсызом. Я знаю, какая эта собака!.. — заметил приятель Варлаама Иван Чушков.

— А Селямсыз разве не скотина?.. — возразил приятель Селямсыза Иван Капзамалин, пошевеливая чашкой, чтобы допить остатки кофе на дне. — Будь он неладен. Выстроил против Тарильома двора дощатый забор да дегтем его вымазал, — назло Варлааму и жене его.

Хаджи Смион опять свесил одну ногу в знак того, что хочет что-то сказать. Но Иван Бухал не дал ему говорить, воскликнув:

— Хороши попечители! Ослы! Оба! Зачем их выбрали? Сегодня утром по дороге в церковь захожу в рыбную лавку к Максиму купить чего-нибудь на обед... Вижу — и они оба там; Селямсыз карпа покупает, да как увидел, что и Тарильом карпа берет, кинул своего, купил сома: «Анафема, говорит, тому, кто в такой день карпов жрет!» И плюнул на рыбу Тарильома. Ну, разве это по-людски?

— Экое свинство! — промолвил дед Нистор, кидая победоносный взгляд на Хаджи Смиона.

— Известное дело: коли согласия нет, толку не будет, — убежденно произнес Хаджи Смион и вздохнул.

— Дело не в согласии, Хаджи, — отозвался Стамболия. — Важно не то, любят они друг друга или ненавидят, а то, дельные ли они.

— Вот и я говорю, — добродушно ответил Хаджи, снова поджимая обе ноги.

— Дельные ли они, довольно ли у них смекалки, — продолжал Стамболия. — Селямсыза выбрали как человека старого, опытного. Разве народ не его посылал в Стамбул хлопотать по делу с Трояном?.. Тарильом — тоже человек с головой и всегда в дальнюю церковь ходит... Вот и будет школу и учителей навещать. А другие попечители — хоть режь, по два месяца в село не заглянут. Тут согласия не требуется. Ганчо-заяц и Фачко-попик — закадычные друзья, водой не разольешь, а сена между двумя ослами разделить не могут. Ума у них не хватает.

— Верно, пусто в голове, — согласился Хаджи Смион.

Доводы Стамболии, энергично поддержанные приободрившимся Хаджи Смионом, привели противников в смущение. Дед Нистор нахмурился и стал чистить свою трубочку, не зная, что ответить. Иван Бухал несколько раз кашлянул и принялся что-то искать у себя в

карманах. Иван Головрат начал усиленно сосать кальян, а Иван Капзамалин сидел неподвижно. Наступило молчание. Его нарушил Хаджи Смион.

— Да, да, дедушка Нистор, люди знают, что делают и кого выбирают. Согласие — согласиём, да в башке-то что, вот вопрос.

Так как дед Нистор ничего не ответил, Хаджи Смион, расхрабрившись, спустил обе ноги и дерзко заявил:

— Я тоже за них голос подал и еще подам, потому что это люди достойные!

Иванчо Йота, до тех пор молча прихлебывавший кофе и только кидавший враждебные взгляды на Хаджи Смиона, вдруг вскипел:

— Достойные! Имени своего грамотно написать не умеют и прочее... Тарильом подписывается не «Варлаам», а «Фарлам»; вместо «веди» — «ферт»⁴ ставит да одно «а» выбрасывает и прочее!..

— Э, что Варлаам, что Фарлам — все едино. Ну какая от этого беда? — возразил Хаджи Смион, который был не из тех, что позволяют сбить себя с толку.

— Как «все едино»? — спросил Иванчо Йота. — По-твоему, можно сказать «пророк Фарлам» и прочее? Никакой беды, а? Выходит, все равно, что в руках: валеk или перо? Назад, назад пятимся, ни на что не годимся.

— Известное дело, не годимся, — подтвердил Хаджи Смион.

Иванчо Йота злился на то, что, вопреки своему ожиданию, не был выбран в попечители. Он считал, что эту пакость устроил ему учитель Гатю, с которым они как-то раз поспорили насчет правописания.

— Вон идет! — крикнул один из присутствующих.

— Кто?

— Тарильом.

— И несет рыбу.

— Остановился, здороваётся с Коной Крылатым.

— Но куда это он вдруг так заторопился, словно его гонит кто, и прочее?

— Просто летит...

— Разве не видишь? Селямсыз сзади показался.

Все столпились у окон.

В самом деле, в верхнем конце улицы показался Селямсыз с рыбой в руке; но, встретив Нечо Райчинчина, остановился, чтобы что-то ему сказать, — наверно, почем купил рыбу, которую он при этом поднял кверху. Потом он встретил Марина Хаджи Цакова и, видимо, пожелал ему доброго утра, так как поглядел на солнце. А завидев впереди дедушку Постола, догнал его и начал ему что-то рассказывать — должно быть, что-нибудь очень важное, так как не заметил прошедшего рядом приятеля своего Ивана Распопа и не поздоровался

4 ...вместо «веди» — «ферт» — название букв церковнославянского алфавита: «веди» — «в», «ферт» — «ф». Буква йота (і) была исключена из болгарского алфавита в 50—60-х гг. передовыми деятелями педагогики и литературы. Приверженцем церковнославянской графики выступает в повести Иванчо Йота.

с ним, так же как и потихоньку уходившего Варлаама Копринарку — и не изругал его.

II. Варлаам Копринарка

Варлаам Копринарка, по прозвищу Тарильом, шел к себе домой. Ему было ровно сорок девять лет и два месяца; лицо он имел длинное, худое и постное, как у святого Ивана Копривара; он носил красный фес цилиндрической формы и широкие шаровары, которые очень к нему шли. Это был человек скромный, благонравный, женатый и жил выделкой шнуров, о чем свидетельствовали обе руки его, вечно вымазанные самой лучшей индийской синькой.

Варлаам Копринарка чуждался всякого разврата: он говел по средам и пятницам, носил пестрые чулки, которые вязала ему жена, рано ложился спать и рано вставал, почему Иван Бухал, великий насмешник, говорил, что Варлаам ужинает с нищими, ложится спать с курами и встает с петухами. Он не пил вина, не курил, был человек передовой, регулярно ходил в церковь, очень редко в кофейню и никогда не ходил в суд, если не считать его тяжбы из-за водосточной трубы с соседом Иваном Селямсызом — они уже много лет таскали друг друга по кадиям. Но что это была за ссора, святой архидьякон Стефан! Даже жены их, Варлаамица и Селямсызка, страшно друг с другом враждовали, и взаимная ненависть их доходила до того, что Варлаамица не называла Селямсызку иначе, как «салотухлое» по причине желтых пятен на ее заплывшем жиром лице, а Селямсызка звала Варлаамицу «клопихой», имея в виду ее малый рост и великую кровожадность. За два месяца до описываемых событий Варлаамица, сойдясь с Селямсызкой на площади у колодца, отведала ее скалку на своей спине, чуть повыше локтя. С тех пор Селямсызка стала чаще отводить воду ручья, либо, увидав в щелку, что Варлаамица моет руки в ручье, тотчас выльет в него помои из корыта, оставшиеся после стирки детского белья... А Варлаамица чуть не лопалась от злости.

А как нежно любил Варлаам свою жену! Как страстно и ласково говорил о ней:

— Она мне нынче похлебку из фасоли сварила, только уксусу перелила, и та маленько кислая получилась, вроде улыбки Фачко Зобидренки.

Только при своем приятеле Хаджи Смионе он дает себе волю и запросто называет жену «фалимилией» — так же как слово «метода» он в присутствии Иванчо Йоты однажды произнес «методіа». Напрасно Иванчо Йота, отличающийся весьма дурным характером, убеждал его, что метода — одно, а методіа — другое, и что грамматика где угодно позволяет писать і, только не в слове «метода», — Варлаам Копринарка, тоже не чуждый учености (он в свое время готовился стать дьяконом в Гложденском монастыре), уперся на своем и не пожелал признать авторитета Иванчо. В связи с этим отношения Иванчо Йоты и Варлаама Копринарки не были приятельскими.

Но, помимо цилиндрического красного феса, который сохранился от первого периода царствования султана Меджида, устояв против всех посягательств моды, Варлаам Копринарка обладал еще одной особенностью: он был очень умен и любил выражать свои мысли с помощью глубокомысленных иносказаний, почему дедушка Постол был того мнения, что он читал Соломона. К примеру, встретит мясник Колю Варлаама, идущего рано утром с засученными рукавами к колодцу на площади, чтобы ополоснуть себе лицо, и скажет ему: «Доброе утро, Варлаам!» — а тот ответит по-церковному, нараспев: «Доброе ли, нет ли, а уж так говорится...» Что должно означать: «Слава богу, Варлаам знает, что делает».

Скажет ли кто ему в июльскую жару:

— Что ты напялил эту дурацкую телогрейку? Жара дьявольская. Или боишься озябнуть?

Он отвечал:

— Горячее палит, холодное холодит, а обожжешься на молоке — станешь дуть на воду...

Это значит, что одиннадцать лет тому назад Варлаам простудился в Петров день и долго болел, после чего голова его сверху стала похожа на Сахару.

Но особенно любезно Варлаам Копринарка разговаривал с Коной Крылатым, соседом, жившим по другую сторону ручья и больше похожим на бочку в штанах, чем на порхающую птичку. Сядут они, например, летним вечером, при луне, каждый у себя на пороге, без шапок, в одних рубашках и подштанниках, в туфлях на босу ногу, — и начнут мирно беседовать о том о сем: о политике, о курах, о пряже, о луне. И Коно Крылатый (господи боже, ну какой же он крылатый?), пуская дым от сигарки прямо в небо, говорит:

— Посмотри-ка на луну, Варлаам... Небось, большущая... Поглядишь ей в лицо, — словно бы живая. А кто ее знает...

Варлаам кинет взгляд на небосвод и скажет:

— Может, живая, а может — и мертвая. Все сие — умышление... Вот, скажем, ручей. Ежели муравей перед ним остановится, так скажет: море! Ты скажешь: ручей! А Фарлам говорит тебе: море! Воистину чудесны чудеса господни!

Коно Крылатый задумается, потом опять спрашивает:

— А ну как она на нас упадет? Вот пока мы здесь сидим... А? Страх какой!

— Не упадет, — промолвит Варлаам.

— А ты веришь, что это — звезда? Так бродяга этот в школе учит, безбожник...

— Звезда? Звезда-то звезда, но пророки и ученые, и благородные, согласно писанию, как написано, так и нарекли, и так оно и было от века и до века... «Познало солнце запад свой». Вот какая это звезда и какое удивление!

Тут Коно Крылатый снова погружался в астрономические размышления и, всем своим видом как бы выражая восклицание,

шептал:

— Много читал, много знает!..

III. Иван Селямсыз

Это был человек лет шестидесяти, высокий, косматый, огромного роста, почти Голиаф, только вместо одеяния древних филистимлян носивший огромную мохнатую шапку, длинный кожух, крытый домотканым сукном, красный пояс в восемнадцать локтей и вечно расстегнутые ниже колен короткие черные шаровары старого покроя, которыми он, однако, дорожил как воспоминанием о холостой жизни. Селямсыз продолжал сам перекапывать свой виноградник и ухаживать за розами; он был еще полон здоровья и сил. Лицо его, украшенное густыми бровями и совершенно седыми усами, полное, красноватое, привлекало к себе всеобщее внимание. Он замечал это не без удовольствия и при всяком удобном случае по одним только ему ведомым причинам старался изобразить себя перед молодыми женщинами более старым, чем был на самом деле.

— Что так глядишь на дедушку, красавица? После рождественского поста мне семьдесят стукнет... Ну, чего уставилась?

И подмигивал лукаво.

А помощнику учителя Мироновскому, которого он звал «джансыз»⁵, потому что тот был кожа да кости, советовал есть по утрам чеснок с шелухой, а вечером — без шелухи и выпивать пол-оки⁶ киселярского вина, так как оно-де имеет кроветворное свойство, да после уроков приходиться к нему, Селямсызу, в виноградник, где для гостя всегда найдется лишняя мотыга.

Одно только повергало в изумление каждого при первом знакомстве с Селямсызом: это его прозвище. Святой Харалампий! Ну, какой же он был Селямсыз?⁷ Человек, имеющий четырнадцать душ детей, который заигрывал с молодыми женщинами и приветствовал решительно всех, кроме Варлаама Тарильома — и то не почему-нибудь, а только потому, что они друг друга терпеть не могли, — человек, не пропускавший ни одного встречного, не сказав ему «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер» (в последнем случае он всегда глядел на солнце, чтобы не ошибиться), — такой человек звался Селямсызом, так же как сосед его — человек столь почтенный — носил легкомысленное прозвище Тарильома! Увы, нет правды на свете, и справедливо поступил незабвенный наш Пишурка⁸,

⁵ Джансыз (турец.) — слабый, бессильный, тощий.

⁶ Ока (турец.) — мера веса, равная 1282 граммам.

⁷ Необщительный, желчный человек, человек, который ни с кем не здоровается и не отвечает на приветствия встречных. (Прим. автора)

⁸ Пишурка. — Крыстю Пишурка (1823–1875), просветитель и педагог, организатор одной из первых в Болгарии народных библиотек и одного из первых любительских спектаклей. Перевел и поставил в г. Лом (12 дек. 1856 г.) пьесу «Многострадальная Геновева».

воспев в небесном гимне отсутствие на земле той приятной особы!

А как страстно любил он приветствовать всех своих приятелей и знакомых! Рассказывают даже такой случай. В одну из критических минут, которых жена его пережила доселе четырнадцать (на этот раз дело было на винограднике), он отправился за бабкой Мюхлюзкой. По дороге в город, к дому почтенной докторицы, он пожелал «добрый день» пятидесяти двум встречным и побеседовал к погоде, дороговизне дров и баранины и о других важных предметах с двадцатью лицами. Вернувшись к себе в виноградник с бабушкой Мюхлюзкой, он обнаружил, что на меже в корзинке уже лежит маленькое божье создание, крик которого восходит к небесам. Счастливый отец дал новорожденному имя Моисейчик — во-первых, потому что оно напоминало о древнееврейском законодателе, найденном дочерью фараона на берегу Нила, в тростниках, а во-вторых, — что важнее — все имена родных были уже разобраны, а из календаря, как делает Иванчо Йота, он своему ребенку имя брать не хотел.

Вообще Селямсыз был человек очень разговорчивый. Случится ли, что кто-нибудь его спросит, откуда у него табакерка, пахнувшая помимо нюхательного табака еще глубокой древностью, он тотчас расскажет, что она досталась ему в наследство от его отца Ивана, а к отцу перешла от деда, которому была подарена знатной турчанкой Эмине-ханум, женой филибейского паши⁹ Арифа, а у деда Хаджи Тодора было двенадцать увратов¹⁰, засеянных розами, и умер он из-за прыща на носу во время поездки с Нечо Гулебалювом на Неврокопскую ярмарку. И всегда пускался в такие подробности, не щадя собеседника. Особенно любил Селямсыз перечислять о. Ставри, приходившему к нему каждое воскресенье в гости выпить и закусить (о. Ставри один во всем городе мог называть, не сбившись, подряд имена всего многочисленного потомства Селямсыза), любил, говорю я, перебирать в исторической последовательности имена четырнадцати своих детей.

— Петра, — говорил он, — окрестил я в честь деда Петра с отцовской стороны; Ивана — в честь моего отца, который умер в чумный год; Крестю — в честь дяди Ставри, брата моей матери; Ставря — по-болгарски Крестю, от греческого ставрос¹¹; да я терпеть не могу патрику¹², ты ведь знаешь.

— Тезки мы с сынишкой твоим, — говорил о. Ставри. — Храни его господь и честной животворящий крест!

9 Филибейский паша — пловдивский паша. Пловдив назывался по-турецки Филибе.

10 Уврат — 919 кв. метров.

11 Ставрос (греч.) — крест.

12 Патрика (греч.) — патриарх; речь идет о константинопольском греческом патриархе, которому до 1870 г. была подчинена болгарская церковь.

— Павла, — продолжал Селямсыз, — окрестил я в честь дяди по отцу — Павла, свата дедушки Постола Измирлии. Параскеву — в честь моей бабки Параскевы, что два раза в Россию пожертвования собирать ходила¹³. Йоту — в честь Хаджи Стояна, дяди моего по матери, умершего в Румынии. Дончо — в честь моего брата Антона. Маноля...

— Эммануила, — строго поправлял о. Ставри: — «И роди сына, и нарече ему имя Эммануил»...

— Эммануила — в честь моего двоюродного брата Маноля — Мануила, что женился на Хаджи Гине, Хаджи-Димовой дочке, которая расстриглась!..

И так далее.

У себя дома Селямсыз был очень хорошим отцом и каждый вечер колотил самых горластых своих ребят — не столько оттого, что они были особенно отчаянными сорванцами, сколько для того, чтобы уязвить отцовские чувства Варлаама, который вот уже двенадцать лет как женат, а не имеет детей, кроме одного-единственного, еще не успевшего появиться на свет! По природной ли склонности, или наперекор отличавшемуся серьезным характером Варлааму, в доме которого всегда царил мертвая тишина, не нарушаемая ничем, кроме бродящей по двору кошки, Селямсыз любил шум, веселье, песни. Почти каждый вечер, выпив как следует, он заставлял кого-нибудь из своих отпрысков спеть ему песню. Особенно нравилась ему песня «С чего начать, любезная моя...» Пискливый голосок приводил его в умиление, глаза его наполнялись слезами, и он, прервав певца, говорил жене:

— Вот, милая, какую раньше люди любовь-то друг к дружке имели: «Любезная моя!» Ну, дальше!..

Когда пели песню «Перестаньте, невинные...»¹⁴ и доходили до куплета: «Я — мать ваша, болгарка, всех я вас породила», он останавливал певца и прочувствованно говорил жене:

— Слышишь, милая? Болгария покоя веков много детей рожала. Это благодать божия!.. Ну, пой дальше!

Любил он слушать и церковные песнопения.

— Дончо, Аврам, спойте «Достойно», как вас учил Мироновский.

— «Достойно есть»?

— Вот, вот.

Те запоют. А он, махнув рукой, скажет:

— Знаешь, милая! Как игумен отец Иероним и мать Миродия, монахиня, та, что филибейскому Неджиб-паше в подарок двадцать пар чулок послала, а он тысячу грошей на ремонт монастырского купола пожертвовал, как запоют — господи помилуй! — эту «Херувимскую», а чорбаджии как начнут дружно подтягивать, — так вся церковь так

13 ...в Россию пожертвования собирать ходила... — Уже в XVI в. в Россию направлялись посланцы болгарских монастырей, а позднее и представители учебных заведений с просьбами о субсидиях и для сборов в пользу церковных и школьных нужд,

14 Патриотические песни того времени. (Прим. автора)

ходуном и ходит... Ну, продолжайте!

И тоже начинал подтягивать, а глаза его наливались слезами.

В этот вечер, отобедав и осушив две глубокие чаши вина, он тоже велел детям что-нибудь спеть.

— Что? — спросили они.

— Конечно, опять «Достойно». Ведь я сегодня большого почета удостоился, — значит, и петь нужно «Достойно», дураки этикие...

И он кинул бешеный взгляд на дом Варлаама; чело его омрачилось; он выпил последние капли, остававшиеся на дне чаши, и промолвил со злобной усмешкой:

— Знаешь, милая? Тарильом сегодня утром, идя в церковь, купил себе карпа, вот такого громадного. Да забыл — и с ним прямо в церковь вошел.

— Ах ты, грех какой! — воскликнула жена и перекрестилась.

— Так и лезет в церковь с карпом в руках... Все смеются исподтишка, а он идет свечу ставить: в одной руке свеча, в другой — карп.

— Ишь, нехристь!

— Все смеются. «Какой болван», думаю. Но тут он спохватился, скотина, повернул обратно, вышел без шапки на паперть и давай за бабьи юбки прятаться.

Селямсыз громко засмеялся, и пятнадцать горл ответили ему громким хохотом, нарушившим тишину двора и разнесшимся по всей окрестности.

Селямсыз врал. Он не был в церкви, так как по дороге случайно встретил Ненчо Дивляка, полицейского Куню Шашова, Пенчо Пенева, бабушку Рипсимию и Аргира Монова, с каждым из которых имел довольно продолжительную беседу, так что, подходя к церковным дверям, увидел, что народ оттуда выходит.

Да, Селямсыз наврал. Но хохот его был искренним. В ответ поднялся страшный крик в Варлаамовом доме. Он состоял из проклятий Варлаамицы и архидьяконских возгласов Варлаама.

Когда ребята запищали «Достойно есть», вдруг в окошке заблестела пара круглых светлых глаз, и новый — таинственный, неземной — голос присоединился к концерту.

— Брысь! — произнес Селямсыз, повернувшись к Варлаамовой кошке.

Но та продолжала мяукать. Дети замолчали.

— Ступай домой: хозяин карпа принес, — голову слопай! — взвизгнула Селямсызка и первая захохотала своей остроте.

Снова раздался всеобщий хохот.

Вдруг Селямсыз кинул в сторону полотенце, вскочил на ноги и, что-то пробормотав, выскочил за дверь, обежал вокруг дома, поймал сидевшую на окне кошку, бросился к стене, отделяющей его двор от Варлаамова, перелез через нее и три раза окунул животное в глиняный чан с черной краской. Потом отпустил ее, и «белоснежное» животное скрылось в ночном мраке, превзойдя его своей чернотой.

После этого Селямсыз вернулся к себе, лет и прохрапел до утра.

IV. Хаджи Смион

Хаджи Смион успел уже облечься в свой французский наряд¹⁵ и спокойно покуривал. Невозможно представить себе ничего добродушной физиономии Хаджи Смиона. Голова у него удлинённая и сдавленная с боков; лицо суховатое, худое и безобидное; взгляд безмятежный, глуповатый, вечно усмехающийся. Хаджи Смиону лет сорок пять; он носит грубого сукна короткие брюки в обтяжку, французскую рубашку без галстука, невысокие башмаки, большой высокий фес, налезавший на самые брови, и серое суконное сетре, у которого правая сторона спины темней, а левая светлей, — странность, которую, впрочем, Хаджи Смион объясняет всем интересующимся очень просто:

— Так носят в Америке. Это американская мода.

При этом Хаджи Смион не имеет ни малейшего намерения обмануть спрашивающего. Он говорит это без всякой задней мысли, вполне чистосердечно. «Американским» он считает все оригинальное или эксцентричное. Мы вовсе не хотим сказать, что Хаджи Смион не любил лгать. Напротив. Но самая ложь его была чистосердечной, и он, как честный человек, первый верил в нее. Однако, если грозил возникнуть спор, он тотчас отступал, так как по природе своей отличался крайним миролюбием, и никто не помнит, чтобы он, с тех пор как вернулся «из Молдовы» (это пребывание в Молдавии было важным жизненным этапом в его глазах), с кем-нибудь поссорился или хотя бы поспорил, кроме как с Лилко Алтапармаком, да и то — по вопросу политическому (Хаджи Смион — страстный политик): речь шла о смерти Максимилиана в Мексике¹⁶. Хаджи Смион доказывал, что Максимилиан пал от руки убийцы, а Алтапармак бесстыдно утверждал, будто его повесили на тутовом дереве. Чтобы заставить противника замолчать, Хаджи Смион заявил наудачу, что в Америке нет тутовых деревьев. Дискуссия приняла бы еще более бурный характер, если бы Иванчо Йота не вынес из своей лавки только что выпущенной картины, изображающей расстрел Максимилиана. Спор тотчас прекратился, и Хаджи Смион ушел из кофейни, удивляясь упрямству Алтапармака, который спорит, ничего не видев; а Иванчо Йота обозвал их обоих дураками. Но как бы то ни было, это единственный случай, когда Хаджи Смион неблагоразумно кинулся в чреватый опасностями словесный бой. Вообще же он избегал всяких возражений: сам никому их не делал и не желал, чтобы другие делали их ему. Это стало его жизненным правилом, вошло у него в привычку.

¹⁵ Французский наряд — то есть костюм европейского покроя.

¹⁶ ...о смерти Максимилиана в Москве. — Австрийский эрцгерцог Максимилиан в 1863 г. был провозглашен императором созданной французскими интервентами марионеточной мексиканской империи, в 1867 г. — расстрелян восставшими республиканцами-демократами.

Мысль его машинально следовала за мыслью собеседника, отдаваясь на ее произвол. Бывало, сосед Ненчо Орешков скажет ему:

— Хорошая сегодня погода, Хаджи?

— Очень хорошая, Ненчо, — отвечает он.

— Только что-то, я смотрю, облака идут из-за гор. И словно бы дождевые.

— Дождевые облака идут, Ненчо.

— Дождь пойдет, молотье помешает.

— Быть дождю, Ненчо, непременно быть, — и какому!

— А впрочем, господь его знает. Ветер-то с запада дует, может, и разгонит тучи, — скажет Ненчо, взглянув на облака.

— Вот и я говорю: разгонит, Ненчо.

— Нет, не будет дождя, — решает Ненчо, зевая, и идет на гумно.

— Ни капли не будет, Ненчо, — подтверждает Хаджи Смион и отправляется в кофейню.

Любопытный разговор был у него с одним студентом, приехавшим из Москвы, относительно Сибири.

— А что, близко ли от Москвы Сибиря? — спросил Хаджи Смион с любопытством, в котором он не уступал Кону Крылатому.

— За несколько тысяч верст, — ответил студент.

— Ну да, ну да. А ехать по железной дороге или пароходом?

— Что вы! Просто в телеге.

— Ну да, ну да, как в Молдове. Я всегда из Ботошан в Нямец¹⁷ в бричке ездил, хоть это четыре-пять перегонов. А зима там холодная, а?

— Черт побери!

— Весь год снег лежит?

— Ужас!

— Ну да, там ведь снег Бонапарта засыпал: много снега идет. В пятьдесят третьем в Молдове снегу пять пядей навалило. А там сколько пядей?

— В Сибири? Да черт его знает. Говорю вам: зима ужасная.

— Сибирская зима, одно слово?

— Ну да.

Хаджи Смион несколько секунд помолчал, потом опять спросил, понизив голос:

— А что, Россия готовится к войне?

— С кем.

— С ним.

— С кем — с ним?

— Да с нашими... Ну, с чалмами.

— Неизвестно, — после некоторого колебания ответил студент.

— Как неизвестно? Напротив, известно.

— Почему вы так думаете?

— Я?

17 ...из Ботошан в Нямец. — Ботошани — город в Северной Молдавии; Нямцу, или Тыргу-Нямец — город на р. Молдовке к юго-западу от Ботошан.

— Да.

Хаджи Смион вытаращил глаза на собеседника.

— А вы полагаете, неизвестно?

— Да, потому что мне это не известно, — промолвил студент.

— Ну так и мне ничего не известно. Конечно, ты прав: русская политика — великая тайна, а? Горчаков¹⁸?

Но так как в это время показался жандарм, он сразу переменял разговор:

— Вы любите сладкие рожки?

— Нет, не люблю.

— А ведь они очень полезны.

— Как? Рожки?

— Ну да, рожки.

— Чем? Они портят зубы.

— Да, да, зубы портят. У меня раз три зуба выпало, еще в детстве, но не только из-за рожков, а еще оттого, что я орехи грыз. Ты ходил в горы за орехами?

— Нет. А вы?

— Никогда. Но поглядели бы вы только, как лес растет!

И Хаджи Смион, козырнув, дал дорогу турку.

V. Посещение

Хаджи Смион докурил папиросу, кинул взгляд в зеркало, надвинул фес на лоб и вышел из дому. Он отправился в гости к Мирончо, с которым они были старыми приятелями еще по молдавскому житью и даже приходились дальними родственниками, так что Хаджи Смион называет его халоолу¹⁹.

У Мирончо Хаджи Смион застал Мичо Бейзаде. Гость и хозяин сидели на скамейке в саду. Мирончо был в халате, пестрых туфлях и с знаменитым ночным колпаком на голове, выражавшим философско-эпикурейское мировоззрение его владельца. А именно, по объявлению Мирончо, положение кисточки на этом головном уборе имело разное значение: если она свешивалась назад, это означало: «Свет лжив»; если набок, то: «Что пользы грустить», а если вперед, то: «N'am grigea de pimeni»²⁰. На этот раз кисточка говорила: «Свет лжив». И в самом деле, отличаясь весьма беззаботным, веселым характером, Мирончо знать не хотел никого на свете, даже такое влиятельное лицо, как Карагьозоолу. В качестве свадебного распорядителя, — а его приглашали на все свадьбы и все пиршества, устраиваемые в

18 Горчаков — князь А. М. Горчаков (1798–1883), русский государственный деятель, министр иностранных дел (1856–1882), видный дипломат, возглавлял русскую делегацию на Берлинском конгрессе (1878).

19 Халоолу (турец.) — двоюродный брат.

20 Мне нет ни до кого дела (румын.)

«Силистра-йолу»²¹, — он нарочно проводил барабанщиков под окошком чорбаджии, чтобы разозлить его. А в прошлом году на свадьбе Николы Джамджии высыпал полную жаровню горячей золы на голову Цочко-чорбаджии в отместку за какую-то обиду. Цочко-чорбаджия подал на него в суд и пробовал очернить его перед турками как бунтовщика, но ничего не мог поделать, так как Мирончо предъявил русский паспорт. С этого знаменательного дня слава отважного Мирончо возросла; никто больше не смел открыто обидеть его, а Иванчо Йота, не без тайной зависти, говорил:

— Будь у меня такой патент, узнали бы вы Йоту! Я бы тут настоящую республику устроил...

А как чудно Мирончо играл на флейте! Сядет вечером у себя на галерее, начнет в нее дуть, а она запищит под самые небеса, и каждый, кто услышит, сразу скажет:

— Это Мирончо заиграл!

Мирончо — мужчина сорока четырех лет, приятной наружности, певун, холостяк, большой знаток барабанного боя и восточного вопроса.

Хаджи Смион, улыбаясь, тихо подошел к Мирончо. Тот чистил длинным гусиным пером свою разобранную флейту, рассеянно слушая бая Мичо Бейзаде, чорбаджию и горячего поклонника русских, который с жаром толковал ему что-то, по-видимому о России, держа в руках газету.

— Доброе утро, сударь мой дорогой, — промолвил Хаджи Смион.

— Милости просим, любезный мой друг. Добро пожаловать.

Этими приветствиями приятели обменялись по-румынски; они обычно разговаривали друг с другом на этом языке.

Мичо Бейзаде подвинулся на скамейке, чтобы дать место Хаджи Смиону, и, ласково кивнув ему, продолжал:

— Скажу я тебе, Мирончо: политика нынешняя, как поглядишь, — верное исполнение пророчества... Я и учителя Калиста спрашивал, да он плохо в этом разбирается... А вот покойный отец Станчо хорошо объяснял; действительно, как я вижу, — политика нынешняя клонится...

Заслышав, что речь идет о политике, Хаджи Смион с важным видом перебил бая Мичо:

— Политика, черт бы ее взял, какая теперь политика? Вот я одно время в Молдове... Тогда действительно политика была... Менчиков²² в пятьдесят втором приехал в Царьград, да султану только два слова промолвил: да или нет? Тут мы все только сказали: «Ах!» И вышло, как по-писаному: начался бой...

Бай Мичо кинул на Хаджи Смиона недовольный взгляд, как на человека, вмешивающегося в разговор, не зная, о чем идет речь, и с

21 Тенистая местность в окрестностях города, обычное место пикников-пирушек. (Прим. автора)

22 Менчиков — князь А. С. Меншиков (1787–1869), русский военный и государственный деятель, возглавлял в 1853 г. миссию в Константинополе накануне Крымской войны.

таинственным видом продолжал:

— Тут дело запутанное... до конца далеко... Видно, Австрия заключила союз с Россией: она мадьяра боится, хоть и поддерживает Турцию. Бейст²³ — тонкий дипломат, и с Горчаковым они заодно. А Франция и Англия шелохнуться не смеют, — пруссак говорит: «Стойте!» Как ни толкуй, а политика теперь все запутанней.

— Это правильно, — перебил его Хаджи Смион, снимая башмак. — Взять хоть церковный вопрос²⁴: никак не распутывается!.. Столько лет боремся, а вчера я опять Хаджи Атанасия отречься от греческого патриарха уговаривал. Прямо в глаза ему говорю: «Коли ты болгарин, так и будь болгарин, сударь, а коли грек, так...» Разве не правильно? Ведь должен человек за веру свою стоять?

— Ну его к черту, твой церковный вопрос! Поповские да монашеские штучки. Ты вот поразмысли над восточным вопросом, подумай-ка над ним! — с сердцем крикнул Мирончо, ожесточенно свинчивая флейту.

— Вот и я как раз хотел сказать: восточный вопрос — это да, а все остальное — чепуха, — вдумчиво подтвердил Хаджи Смион.

Бай Мичо снял очки, спрятал их в футляр и, собираясь уходить, прибавил:

— Попомни мое слово, Мирончо: у тех хэшей, что теперь по Балканам бродят, воеводы — все русские генералы. Ты не верь тому, что в газетах пишут... Как дважды два — четыре, тут русские работают, — в восточном вопросе то есть. Дело подвигается. Пророчество не лжет... «Десятый индикт²⁵... И восстанет брань сильная от Севера... и будут кровопролития, и пламень, и бедствия великие по всей земле... и погибнет проклятое племя измаильтянское²⁶! Горе тебе, о дочь вавилонская...» Это о Царьграде. А брань сильная — Россия, — важно заметил бай Мичо Бейзаде и встал.

VI. Что сказал ночной колпак!

Мирончо слегка приподнялся, пожал гостю руку и, когда тот ушел, любезно спросил приятеля:

23 Бейст — граф Фридрих Бейст (1809–1886), саксонский и австрийский государственный деятель, вдохновитель реакции во время революционных событий 1848 г. С 1866 г. — австрийский министр иностранных дел; ярый славянофоб.

24 Церковный вопрос — вопрос о независимости (автономии) болгарской национальной церкви и освобождения ее из-под власти греческой константинопольской патриархии. Возник в 40-е гг. XIX в. и вскоре приобрел формы активной борьбы широких масс народа против чужестранного религиозного угнетения. Был разрешен в 1870 г. султанским рескриптом (ферманом), учредившим независимую болгарскую церковь под главенством болгарского экзарха.

25 Индикт, или индиктион — период в 15 лет, которым средневековые историки пользовались как единицей времени.

26 Племя измаильтянское — арабы и турки, считавшиеся потомками Измаила, сына библейского патриарха Авраама.

— Какие известия, друг мой?

Это было сказано уже по-болгарски.

— Важные известия, большие новости, — ответил Хаджи Смион тоже по-болгарски. — Филип так и рубит «капустные кочаны»²⁷ на Балканах. Сдается мне, освободимся мы. Только сила-то турецкая, а?.. Черт! А тут еще этот, как ты говоришь дьявольский церковный вопрос все не решается... Поди разберись...

Мирончо выразительно нахмурился и, взмахнув флейтой, воскликнул:

— Ты, Хаджи, помешался на своем церковном вопросе! Я о нем слышать больше не хочу. Филибейским чорбаджиям архиереи понадобились... Свободу, свободу — ты вот что мне подай. И русская сабля это совершит... Прочти «Лесной путник!»²⁸ Ты читал его?

Хаджи Смион немного смутился, но ответил решительным тоном:

— Ну да, ну да, когда-нибудь русские возьмут Царьград. Бай Минчо прав; и Мартын Задека²⁹ тоже верно говорит: в десятом индикте это будет. Теперь у нас тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год. Сбудется непременно. Русские генералы непобедимы... Только Дунай перейдут, а там... Я ведь все тропы через Балканы знаю — двадцать раз Карнарские горы переходил. Огромное царство — Россия, ужас какое... Куда только не простирается! Расспрашивал я как-то Гечко о Сибири, — ну просто страх берет: не то царство это, не то целая вселенная... Ты верно говоришь... мне теперь ясно. Ну да, политика, — в ней-то все и дело... Пруссия и Австрия дрались при Садовой³⁰. Дрались так, что друг друга чуть не истребили! А из-за чего? Из-за земли... Ведь всякий царь, коли настоящим царем хочет быть, должен землю иметь, над которой ему царствовать. Все равно как, попросту сказать, и мужчина, чтобы настоящим мужчиной быть, должен, понимаешь? — жену себе взять... Это я, Мирончо, к тому речь веду, что пора бы и тебе — это самое; по-приятельски говорю, пора...

Мирончо посмотрел на него с удивлением. Хаджи Смион дружески кивнул ему.

— Жениться? — промолвил Мирончо. — Брр... Что ж, это неплохо...

— Неплохо, ей-богу неплохо, — подтвердил Хаджи Смион.

Мирончо снова задумался.

— То есть ты, сердечный друг мой, — заговорил он наконец,

27 Филипп так и рубит «капустные кочаны»... — Филипп — известный гайдуцкий воевода Филипп Тотю; «капустные кочаны» — имеются в виду турки.

28 «Лесной путник» — поэма Г. Раковского (1857), повествующая о тяжелом положении болгарского народа под турецким игом и прославляющая подвиги болгарских повстанцев — гайдуков.

29 Мартын Задека — мнимый автор книги прорицаний, изданной в конце XVIII в. на немецком языке и пользовавшейся большой популярностью в Болгарии, поскольку в ней «предсказывалось» падение турецкой империи. По всей вероятности, эта книга проникла в Болгарию во время одного из походов русских войск.

30 Садова — село на территории северной Чехии, в сражении при котором в 1866 г. прусские войска разбили австрийскую армию.

насупившись и положив флейту себе на колени, — советуешь мне всунуть голову в бабье ярмо?

— Сохрани боже!

— Чтоб было кому меня за нос водить?

— погоди!

— Чтоб я с этого самого дня стал рабом какой-нибудь пестрой юбки?

— Нет, нет, нет! — крикнул Хаджи Смион, уже сожалея, что разговор о политике незаметно вовлек его в спор по этому дьявольскому вопросу.

— Неужели ты считаешь Мирончо таким простаком?

— Никто не считает...

— Мирончо не нуждается в жене, приятель мой дорогой. Чего мне не хватает? Вот моя женушка сладкогласая, которая и меня и людей веселит. У вас ведь тоже ее слышно?

— Каждый вечер слушаем с женой... Она очень любит ту, румынскую... Но не дай бог...

— Чего «не дай бог»?

— О старости, о старости надо подумать, друг сердечный, — промолвил Хаджи Смион отеческим тоном.

— Так что же?

— Надо человеку деток иметь.

— Вот ты о чем? Bravo, любезный друг мой, bravo! Теперь я одного себя, Миронча, кормлю, а тогда буду целый рой сопливых мирончовят кормить? Я не Селямсыз! В каком законе это написано?

— Как в каком законе? В нашем православном законе, — храбро отрезал Хаджи Смион.

— Ветер — этот закон! А мой закон на ночном колпаке у меня написан: свет лжив и суета сует! Все есть дым!

— Дело известное: все — ветер и дым, — горячо подтвердил Хаджи Смион.

— Женись не женись — все равно помрешь, верно?

— И я то же хотел сказать.

— Послушай, дорогой и любезный друг мой, какова моя, философия... Ты ведь знаешь, что я — философ?

— Да, ты философ.

— И у меня тут есть кое-что?

При этом он указал на свою голову.

— Есть, знаю.

— В этом мире ни жена, ни золото, ни серебро не могут сделать человека счастливым, а знаешь — что?

— Знаю.

— Свобода.

— По-американски.

— И больше ничего не надо.

Мирончо внимательно склонился над флейтой, стараясь прицепить на место какой-то клапан.

— Да, больше ничего не надо.

Хаджи Смион увидел, что под давлением неодолимых доводов философа вынужден мало-помалу уступать ему поле сражения. Он собрался с духом и решил сделать последнюю доблестную попытку удержать свои позиции, — чтоб, если уж придется отступить, то по крайней мере совесть была чиста.

— Только видишь ли, халоолу... — бодро начал он. — Ежели человек имеет покой у себя в доме... А кто создает покой в доме? Опять жена. Вот я, например; спроси меня. Восемь лет живу с Гинкой и ни о чем не беспокоюсь... То есть — понимаешь? — ни на столечко тревоги не знаю. А коли покоя нет, какую же можно чувствовать благодарность?

Мирончо сидел, по-прежнему склонившись над флейтой. Он ничего не ответил.

Хаджи Смион осмелел.

— Не женат — ладно... Но ведь с людьми живем... Им язык не привяжешь... Вот ты, например, к монашкам ходишь, — без всякой дурной мысли, скажем. Но — понимаешь?.. народ видит: человек бессемейный. Нет, нет, некрасиво получается. Просто неприлично. Ну, что скажут люди?

Мирончо насупился и сильно потрянул головой, так что кисточка колпака свесилась наперед.

— Ты видишь, что она говорит? — промолвил он. — «Мне ни до кого дела нет!»

Хаджи Смион стал в тупик перед этим неопровержимым аргументом. Против своей воли он произнес:

— Колпак прав; он тоже философ.

— Знаешь, что такое жена? — продолжал Мирончо. — Я тебе скажу: это змея за пазухой, с которой ты спать ложишься.

— Верно. И я иной раз, когда меня жинка разозлит, кричу: «Эх, черт возьми, почему я не Мирончо!»

— Ну вот. Значит, понимаешь?

— Как не понимать!

— А приходишь и говоришь: «Женись, друг милый!» Ведь сам все знаешь прекрасно...

— Да я не к тому, а просто так, по-приятельски... Ты правильно поступаешь, ты — философ.

VII. Две батареи

Хаджи Смион простился с Мирончо и, улыбаясь, пошел домой. Повернув на улицу, где жил Селямсыз, он увидел, что у ворот Копринарки и Селямсыза толпятся любопытные, с наслаждением слушая ругань, которой осыпают друг друга соседки, разделенные дощатым забором.

Охваченный любопытством, Хаджи Смион скоро понял, в чем дело: вечером, после ужина, Варлаам, услышав злорадный смех

Селямсыза и всего его «могучего» потомства, задрожал от бешенства, выбежал из дому и в то самое время, как Селямсыз окунал его кошку в чан с краской, повесил у ворот злодея обглоданный рыбий хребет. Утром же, когда Селямсыз увидел у своих ворот кучу ребят, глазеющих, раскрыв рот, на кем-то повешенный рыбий хребет, а Варлаам с женой обнаружили, что кошка перепачкала подушки и одеяло у них на постели, а также шелковую юбку, лежавшую с вечера на сундуке, все сразу выяснилось, и между обозленными соседями поднялась самая ужасная свара, какую только можно себе представить.

С каждым мгновением шум и крики становились все сильнее.

— Ах ты, сало тухлое! Чтоб ты провоняла! — вопила Варлаамица из-под груши.

— Ах ты, клопиха-кровопийца! Чтоб тебе лопнуть! — отвечала Селямсызка из-под навеса у печи.

— Разрази тебя гром!

— Задуши тебя чума!

— Чтоб тебя разорвало!

— Чтоб тебе в упыря оборотиться!

— Чтоб огонь пожег тебя и с детьми твоими!

— Чтоб короста изъела вас обоих!

— Свинья двенадцатипоросая!

— Кукушка бездетная!

— Чтоб тебе мужа на виселице увидеть и самой за ноги его качать!

— А твоего-то чтоб на кол посадили, и нечистая сила вокруг хороводы вела!

— Пусть руки, что мою кошку выкрасили, отсохнут и почернеют, как твоя черная душа, желтомордая цыганка!

— Пусть рыба кость, что на наших воротах висит, поперек горла вам встанет и обоих удавит, клопиха проклятая!

Селямсыз сидел на шестой ступеньке лестницы, без шапки, вспотевший, злой, багровый, с усами, свирепо ощетинившимися. Он не кричал, а только одобрительно кивал при каждом удачном ругательстве жены да время от времени похрюкивал.

Он был похож на генерала, установившего свою батарею на соседнем холме и наблюдающего действие ее огня. По-видимому, такой же тактики держался и генерал неприятельского войска, чья батарея изрыгала огонь и смерть со своего стратегического пункта. Залпы учащались и становились все смертоносней. На трескучие гранаты-оскорбления, посылаемые батареей генерала Варлаама, батарея генерала Селямсыза отвечала грохочущими бомбами-проклятиями, от которых раскалывались небеса и черепицы! Под конец батарея генерала Варлаама начала заметно хрипеть. Обнаружив это, неукротимый Селямсыз, после минутного совещания со своей свитой, решил немедленно послать несколько анатолийских ядер-ругательств, чтобы перекрестным огнем нанести неприятелю

последний удар. Затем поступил как французский полководец при Аустерлице: вынул табакерку и взял понюшку табаку.

Святой Трифон Первофевральский, какое совпадение!

Вдруг в толпе показался Йота. Протискавшись сквозь нее, он предстал перед Селямсызом.

VIII. Иванчо Йота

Второй раз встречаются читатели с Иванчо Йотой.

Но что такое представляет собой Иванчо Йота?

Иванчо Йота вовсе не «что такое», а маленький сероглазый человечек с щетинистой шевелюрой и такими же усами, исполинским носом и большим честолюбием.

Молодые годы он посвятил литературным занятиям, а после смерти деда занялся бакалейной торговлей. Засаленные рукава его зеленого сетре из грубого сукна и обтрепанные штанины грязных будничных брюк говорят о его неутомимом трудолюбии.

Иванчо Йота — человек, как мы сказали, весьма честолюбивый, никому не дает себя в обиду, боится только турок и водится с людьми учеными. Он принимает участие во всех серьезных дискуссиях, происходящих в кофейне Джака, и может успешно спорить с учителем Гатю по вопросам филологическим, с Хаджи Атанасием, еще признающим греческого патриарха, — по церковному вопросу, а с Хаджи Смионом и даже с более учеными людьми — о внешней политике.

Итак, Иванчо отличался ученым образом мыслей и не считал себя простым человеком. Например, недавно в кофейне он сказал господину Фратя по поводу болгарского правописания:

— Надо нам, сиречь ученым, собраться и договориться... Пора исправить язык — и прочее...

Он выражался по-книжному и говорил своим покупателям:

— Вчера мне прислали маслины отменного достоинства и по весьма способной цене.

В прежние годы Иванчо читал дамаскины³¹ и жития святых с амвона. Как-то раз прочел «Житие Алексея — человека божьего»³² так, что все старухи плакали. Он даже сам сочинил три «Слова»: о вербном воскресении, о мученических подвигах святого Георгия Нового³³ и о грехопадении Адамовом. Он собственноручно переписал

31 Дамаскин. — Дамаскины — сборники поучительных, исторических и легендарных повествований, распространенные в болгарской письменности XVII–XVIII вв.; составлялись по образцу сборников проповедей греческого писателя Дамаскина Студита (XVI в.) и получили название от его имени,

32 Алексей, божий человек. — Житие Алексея, божьего человека — древнеболгарское повествование на легендарный религиозный сюжет — было весьма популярно в годы турецкого ига; известно во множестве списков.

33 ...мученических подвигов святого Георгия Нового. — Святой Георгий Новый — софийский золотых дел мастер, по преданию, казненный турками в XVI в, за обличительные выступления против магометанства.

их, как жития, церковнославянскими буквами — черными и красными, снабдив рукопись картинками и заставками. Получилось до того похоже на печатную книжку, что покойный о. Станчо напрасно обе пары своих очков надевал: так и не мог отличить. К сожалению, все эти сокровища, не знаю каким образом, сгорели, и с тех пор литературные занятия Иванчо прекратились; рассказывая теперь в кофейне об этой славной своей деятельности, он с сердечным сокрушением кончал свое повествование словами:

— Лучше бы я сгорел, только не сочинения мои... Это большая потеря для народа.

Поэтому он часто заставлял свою дочь Андроникию, или Мужепобедительницу, как называл ее в болгарском переводе музыкословеснейший Хаджи Атанасий, петь известную патриотическую песню:

Где же наши славные сочинения

И наши славные сочинители?

И печально повторял:

— Большая потеря для народа.

Но и теперь Иванчо Йота никому не уступит в учености и является ярким сторонником буквы і (йоты), злодейски изгнанной учителем Гатю из всех классов училища. И теперь он записывает в свою счетную книгу красивыми церковнославянскими буквами:

«Нікіта Піщік: сорок драм³⁴ коріці — 3 гроша.

Дімітр Пінтій: піл напіткі — 1/2 гроша».

Помимо того, Иванчо Йота — болтун, сплетник, нахал и в рождественский пост тайком от жены ест скоромное. Но это не мешает ему страшно ненавидеть греческого патриарха и допекать невежду вроде Варлаама.

IX. Мирлюбие одного миротворца

— Скажи на милость, из-за чего все это приключение, то есть по какому поводу, в силу каких причин и все прочее? — спросил Иванчо генерала Селямсыза, когда тот посредством множества всяких сигналов и окриков заставил свою батарею замолчать.

Как ни странно, одновременно умолкла и неприятельская батарея.

— Какое приключение? — сердито засопел Селямсыз. — Никакого нет ни приключения, ни отключения! Отродясь не видывал, — а я живу на свете не то семьдесят, не то восемьдесят лет, — чтобы такая вот паршивая собака издевалась над моим честным домом. Ну, как тебе это нравится, Иванчо? Что сделали мои ворота венгру этому, ослу монастырскому? Меня, человека женатого, семейного, отца четырнадцати детей, который султану девятьсот девяносто один грош налога наличными платит, на старости лет обесчестил — и за что?

34 Драм — 2,5 грамма.

Пойди спроси его: за что?.. Нет, я этого так не оставлю! Будь проклят Селямсыз, коли он это так оставит!..

Иванчо терпеливо выслушал его, потом произнес:

— И прочее... А теперь, бай Иван, расскажи, в чем вся история.

— История, история... История вот в чем: он повесил мне рыбий хребет на ворота, хорват проклятый, чтобы каждый прохожий видел и смеялся над моим честным домом.

И Селямсыз плюнул.

— И тогда ты... выкупал его кошку и прочее?

— Какую кошку? Кто выкупал?.. Говорю тебе: я отродясь не видал, — а восемьдесят пять лет на свете живу, — чтобы христианин над христианином такой грех и срам учинил. Да он, пес этот, Тарильом, — и не христианин вовсе, а настоящий цынцарин³⁵: дед его с Арнаутчины³⁶, из Воскополя, с мешком на спине пришел и жареной кукурузой да халвой торговал.

— Отчего же Варлаам оказал тебе такое неуважение?

— Кто? Тарильом-то? Говорю тебе, Иванчо, — такой пакости и сам я никогда не видал и от других слышать не приходилось. Ты видишь: я — старый человек. Но как говорится: «Сохрани, боже, от зла...» Милый мой! Разве первый раз люди ругаются? Живые ведь мы. Человек — не дерево. Взять хоть ребят моих — слышишь, шумят? И они только и знают, что бранятся да дерутся, а ты каждый вечер становишься над ними судьей, разбирай ссоры ихние... Третьего дня вечером я сам чуть Маноля насмерть не убил... А ведь я — не какой-нибудь несмышлениш. Помню время, когда Хаджи Петко с Хаджи Папуркой тоже вот так поругались из-за водосточной трубы, — по кадиям да муфтиям³⁷ таскаться стали, копны друг у друга жгли... А ведь сватами друг другу доводятся: Хаджи Петко на Рипсимии, двоюродной сестре Хаджи Папурки, женат. Хаджи Папурко — старший сын деда Бенча из Сюлюменова рода, и дом у него был — не дом, а целый дворец... Да помню — сцепились на заговенье, так хочешь верь, хочешь нет, — сабли выхватили...

— И прочее... Теперь слушай, — прервал его Иванчо. — Поговорим с тобой по душам... Ты ведь отец — и прочее. Скажи, тогда... ведь это ты окунул кошку в чан с краской от разъярения душевного? А кошка-то, как Варлаам с женой спать легли и все прочее... взяла и устроила всеобщее злоупотребление... Понятное дело — животное...

Селямсыз кинул на Иванчо свирепый взгляд и сердито промолвил:

— Ну, ладно. Это я кошку окунул, окрестил ее! И выпустил, чтоб она пошла, на штанах у них понежилась... Что ж из этого?

И Селямсыз вытаращил еще страшней глаза на Иванчо.

Иванчо только кивнул головой.

35 Цынцарин — македонский валах.

36 Арнаутчина — страна арнаутов, Албания.

37 Муфтин (арабско-турец.) — мусульманский богослов-правовед.

Селямсыз отер шапкой пот со лба и продолжал:

— Что сделается какой-то кошке и какому-то Тарильому? Ничего. Кошку вымоют, белье выстирают. А то пятно, которым он осквернил ворота мои и лицо мое, смывается только кровью! Понимаешь? Кровью, Иванчо!

— Нет, нет, вы должны помириться. Видишь? Сто человек стоят у ваших ворот, — глядят и хохочут. Так не годится. Обнимитесь — и прочее.

— Это с Тарильомом-то? Да он не стоит того, чтоб «доброго утра» ему пожелать!

— Оба хороши. Ну да, ты, конечно, прав: Варлаам — богохульник и разбойник анатолийский! Не может имени своего написать, а попечитель! Позор для болгарского, народа!

Тут Иванчо топнул ногой.

— Значит, я прав?

— Прав. Но простите друг друга.

— А если б тебе повесили на ворота рыбий хребет в целый локоть длиной, ты что бы сделал?

— Кто мне повесит?

— Кто бы ни был?

— Рыбий?

— Да хоть бы буйволоный.

Иванчо разозлился.

— Ну, скажи: что? — азартно настаивал Селямсыз.

— Кто посмеет?

— Неважно — кто. Ну, скажем, — Тарильом.

Иванчо поглядел на собеседника страшным взглядом, поднял руку и глухим голосом торжественно произнес:

— Не быть тому живым! Смерть!

Гордый человек был этот Иванчо.

Х. Убедительность одного витии

Хаджи Смион, со своей стороны, успокаивал Варлаама Копринарку.

Батарея, находясь еще в беспорядочном состоянии от бешеного движения, вызванного силой огня, снялась со своей возвышенной позиции и, погрузившись в задумчивость, но еще дымясь, сидела на корточках возле ручья, устремив безумный взгляд в ту сторону, где, подвешенная за фижмы, меланхолически покачиваясь, сохла на солнце только что выстиранная юбка.

Генерал Варлаам, бледный, позеленевший, весь в поту, с ошетинившимися подстриженными усами, с выставленной на солнце и ослепительно блестящей под полуденными лучами Сахарой, быстро шагнул назад и вперед по двору. За ним по пятам следовал Хаджи Смион, ожидая, когда гнев его немного утихнет, чтобы не быть втянутым в какое-нибудь бесполезное пререкание.

— Ну, скажи: чего он заслуживает, этот бес окаянный? — вдруг спросил Варлаам, неожиданно обернувшись.

— Кто? Селямсыз-то?

Но Варлаам, никогда не называвший своего соседа по имени, раздраженно промолвил:

— Понятно, он... Ну, скажи!

— Послушай, Варлаам, помирись с ним, — говорю тебе как друг.

— Фарламу мириться с ним?

— Хорошее дело — помириться, ей-богу, хорошее. Помиритесь по-братски, по-христиански, — повторил смиренно Хаджи Смион, искренне желавший, чтобы это примирение состоялось.

Варлаам поглядел на него, насупившись.

— Не ожидал я таких советов от вашей милости.

— Я — как друг, — робко протянул Хаджи Смион, опасавшийся какой-нибудь неприятности.

— Как? С ним? По-братски? По-христиански?

— Честное слово, Варлаам, прости его... Он просит прощения, — солгал Хаджи.

— Кто? Он?

— Ну да. Я сейчас от них... убедил его, и он готов с тобой расцеловаться. Сам сказал, что согласен.

— Целоваться с Иудой? Сохрани боже... Никогда! Пока жив!

— Но послушай, Варлаам!

— Фарлам не слушает.

— погоди. Что я тебе скажу...

— Не желаю!

И он снова принялся ходить взад и вперед, склонив голову и заложив руки за спину.

— Варлаам! — снова воскликнул Хаджи Смион.

— Ну, слушаю.

— Я ведь и раньше тебе так говорил. Ну, скажи, разве я не прав? — обратился он к Варлаамице.

Та ничего не ответила. Она не сводила глаз с юбки, еще носившей на себе следы двух больших облаков, которые кошка нарисовала на ней прекраснейшим индиго.

Варлаам тоже взглянул на юбку, потом выпрямился как свеча перед Хаджи Смионом и гневно произнес:

— Ищешь поддержки у моей жены? А ты спроси, что у нее на сердце?

— Знаю, знаю, — она добрая.

— И спроси Фарлама, как у него на душе кошки скребут?

— Знаю, знаю. Будь я на твоём месте, — ей-богу...

— Мог ли бы ты стерпеть, видя такое кораблекрушение всего дома?

— Не мог бы.

— Помирится ли бы с таким мерзавцем, предателем и смертоубийцей?

— Я?

— Да, ты.

— Лучше умереть.

— И Фарлам скорее умрет. Но только ему одному известно, как болит душа его. Сторонние люди смотрят в кошару, а только коза знает, как нож остер. Чего он смеется? Чего плачет? — спрашивают. Эх, лучше смеяться, чем плакать. Таков свет: никому нет дела до Фарлама.

— Да, никому нет дела до Фарлама, — машинально повторил Хаджи Смион, глядя на злополучную юбку и кошку, сушившихся на солнце.

— Ежели кто окатит твоего Англичанина — да не синей краской, а просто помоями, и скажет ему: «Пойди поваляйся на желтой тафтяной юбке Хаджийки», — ты потерпишь?

— Не потерплю.

— А как же Фарламу с этим мириться?

— Ты прав: не прощай, будь мужчиной, держись!

— Это ли не поруха чести моей фалимилии? Ведь смертоубийца обесчестил ложе мое.

— Верно. Человек одной честью жив! — согласился Хаджи Смион.

Варлаам немного подумал, потом прошептал:

— Знаешь что?

— Ну да. А что?

— Не говори никому.

— Никому не скажу.

— Дай мне свое...

Хаджи Смион вперился в глаза собеседника:

— Мое?

— Дай мне его! Смертоносное...

— Ружье?

— Ну да.

— Зачем оно тебе?

— Дай.

— Оно заряжено.

— Заряжено...

Хаджи Смион испуганно оглянулся по сторонам.

— Молчи. Как бы кто не услышал.

— Слушай.

— Ну ее к дьяволу, эту затею.

— Дай его Фарламу, не бойся.

— Нет!

— Слушай, я в него не стану стрелять. Убийства не будет.

— А на что ж оно тебе?

— Сейчас Фарлам тебе скажет.

Хаджи Смион еще раз отрицательно покачал головой.

— Ты понимаешь, Хаджи: этот Селямсыз — страшный негодяй.

— Знаю. Ну?

— Он ночью залез ко мне во двор, ты подумай...

— Так, так.

— Он может как-нибудь ночью опять стену перелезть и напасть на мою фалимилию.

— Понимаю. Разве прошлый год Геревница, что гряды с розами ему перекапывала, не жаловалась на него в общину?.. Береги свою честь, Варлаам.

— Так дай же мне свое смертоносное!

— Сохрани боже!

— Я не стану до смерти убивать, а только постращаю. Ведь ты же мне друг?

— Нет, нет, ружье — это не игрушка. Береги свою честь, Варлаам! И Хаджи Смион поспешно скрылся в воротах.

Удаляясь, он опять услышал возносящиеся до самых облаков громкие крики.

Перемирие кончилось. Между двумя генералами и их батареями начался решительный бой.

XI. Хаджи Смион и Иванчо Йота

Хаджи Смион, погруженный в размышления, медленно переступил порог кофейни. Там было довольно много посетителей, среди них несколько уже знакомых нам. Йота с большим пылом рассказывал им об утреннем приключении, взволновавшем весь город. Хаджи Смион тихо сел и стал слушать.

— Ну, нипочем не соглашается! — продолжал Иванчо. — Тут не стерпел я и говорю: «В конце концов ты же отец четырнадцати детей и прочее... Какой пример ты им подаешь? Подумай: отец ведь!»

— Это Селямсызу? — вмешался Хаджи Смион; он не мог удержаться, чтобы не похвастать добрым делом, которому посвятил сегодняшнее утро. — А я то же самое Варлааму толковал, мы с тобой словно договорились.

Иванчо поглядел на него недовольно и продолжал:

— Только вижу, — он опять в сторону... «Я, говорит, то и то!» Нет, сударь, — говорю ему благородно, — ты попечитель школы. Или эту честь ни за что считаешь?

Хаджи Смион, приготовившись скинуть левый башмак, вмешался снова:

— И я то же самое Варлааму сказал. «Ведь тебя, говорю, в школьные попечители выбрали. Я сам голос за тебя подавал. А ты нас позоришь... ей-богу, позоришь!»

Иванчо отмахнулся от Хаджи Смиона, сложил губы в кислую гримасу и продолжал:

— Тут Селямсыз стал сдаваться. Вижу, проняли его слова мои. «Иванчо, ты прав», — говорит.

— И Варлаам сперва упирался, а под конец сказал: «Ты прав...» То же самое!

И Хаджи Смион важно оглядел все собрание.

Иванчо кинул на Хаджи Смиона свирепый взгляд. Заметив, что тот снял башмак, чтобы говорить, он предупредил его намерение.

— Кажется, уж совсем убедил его. Но вдруг он мне: «Хребет! Не могу. Нет, нет, не могу. Чтобы этот разбойник анатолийский ворота мои бесчестил!..»

— Вот, вот! И Варлаам тоже: «Я, говорит, этого смертоубийцу и Иуду Искаротского, который фалимилию мою бесчестит...»

— Замолчи, невежа! Попечители! Позор для болгарского народа! — в бешенстве закричал Иванчо.

Среди присутствующих послышался смех.

Хаджи Смион презрительно поглядел на Иванчо и строго промолвил:

— Будь американцем, сударь. Веди себя чинно.

Но через минуту гнев его прошел, и он охотно принял предложение Иванчо сыграть в карты...

— Только честно, без обмана, — прибавил Иванчо.

— По-американски, — ответил Хаджи Смион, усаживаясь удобнее.

Игроки несколько раз сдали карты в полном молчании.

Первым нарушил его Хаджи Смион.

— Знаешь, как звали не прошлогоднего, а позапрошлогоднего кадию?

— Пять да три — восемь, да один — девять... Кого?

— Позапрошлогоднего... четыре и четыре — восемь... Ходи.

— Хаджи Юнуз, что ли?.. Ходи, чего тянешь?

— Малая. Берешь? — воскликнул Хаджи Смион.

— Черт подери, допек ты меня! всю душу выжег и прочее... На! Грабь!

— Пять, два... три... десять!

— Крупная! Ох! — испуганно вскрикнул Иванчо. — Нет, стой, стой! У тебя ведь девять... Как же десять? Долой, долой, долой крупную!

— Ах, волки заешь!.. А я десять очков насчитал, обчелся... На, возьми ее себе!

И Хаджи Смион с сердцем кинул карту на землю.

— Вперед, пожалуйста, честно, без обмана... — сказал Иванчо, забрав при следующей сдаче и крупную и мелкую.

Хаджи Смион, насупившись, обдумывал ход. Игра продолжалась.

— Теперь — будь сам свидетелем, Хаджи Смион: я благородно, как полагается, — понимаешь?.. Игра, прямо сказать... Ну, не идет чертова карта... Эх, будь у меня сейчас девятка!.. Погоди, погоди: я посмотрю, чем ты кроешь. Два да три — пять, да четыре — девять и прочее. Ладно, бери.

— Экий ты недоверчивый, — сказал Хаджи Смион, пряча себе под колено три карты Иванчо. — Проклятые трефы не идут... Эй... эй, ты чем покрыл валета?

— Валетом же, — добросовестно ответил Иванчо.

— А я уж подумал, не королем ли... Мне показалось — корона, — сказал Хаджи Смион, покрывая даму единицей и быстро смешивая их с другими картами.

Но Иванчо, не слушая уверений Хаджи Смиона, потребовал, чтобы карты последнего были проверены и было выяснено, сколько у него дам.

— Правильно, правильно, — слышались голоса.

Хаджи Смион поспешно смешал свои карты с картами Иванчо и сердито промолвил:

— Я так играть не стану!

— Как же это, сударь? Записываю себе пять. А ты плати за кофе и прочее. Зачем карты смешал? Или баранами всех считаешь?

— Кто тебе о баранах говорит? Но я не желаю слушать оскорблений. Играй по-американски.

— Разве ты не мошенничал?

— Кто?

— Разве я не поймал тебя два раза?

— Врешь! — крикнул Хаджи Смион.

— Сам ты врешь, как бородатый цыган!

С этими словами Иванчо швырнул ему карты в лицо; при этом он толкнул хозяина, разносившего кофе, и все оно вылилось на плечо Хаджи Смиону.

Трудно сказать, что сделал бы Хаджи Смион, если б был обут в это мгновение. Но Иванчо отбежал в другой конец комнаты и шепотом спросил Мирончо:

— Скажи, Мирончо, какая обида больше? По-моему, хребет.

Мирончо ничего не ответил.

— А по-твоему, что труднее стерпеть? — домогался Иванчо.

Мирончо поглядел на него совершенно равнодушно.

— Хребет? — покраснев от досады, продолжал настаивать Иванчо.

Мирончо молчал.

— Или, скажем, кошка? — прибавил Иванчо упрямо.

Потом, переменяв тон, спросил доверительно:

— Читал сатиру?

Мирончо посмотрел на него отсутствующим взглядом.

— Страшно осмеяли Варлаама — и прочее... Читал?

Но Мирончо, который даже носа Йоты видеть не мог, отвернулся и стал слушать другой разговор.

Иванчо покраснел от гнева. Повернувшись к стене, он пробормотал:

— погоди, гордый Дарий³⁸, я заставлю тебя открыть твои ослиные уши!

Он не посмел напасть на Мирончо открыто, так как помнил случай с жаровней, а решил втянуть его в спор по какому-нибудь запутанному

38 ...гордый Дарий. — Имеется в виду древнеперсидский царь Дарий I Гистасп (522–486 гг. до н. э.); Иванчо Йота ошибочно связывает с его именем легенду об ослиных ушах, относящуюся к мифическому малоазиатскому царю Мидасу.

вопросу — например, насчет правописания, о котором уже зашла речь в одном углу кофейни.

ХII. Вольтерьянцы и эллинисты

Иванчо Йота незаметно присоединился к беседующим. Разговор, возникший по поводу лошади Ивана Болашака, перешел в спор о правописании. Учитель Гатю, известный вольтерьянец, обрушивал беспощадные удары на некоторые завещанные стариной благочестивые буквы.

Его союзниками были: Мирончо, завсегдатай кофейни Иван Бухал, подвыпивший дед Нистор, несмотря на свою неграмотность, сражавшийся в первом ряду бойцов; затем великий вольнодумец и патриот господин Фратю и, наконец, владелец кофейни.

В качестве союзников сладкогласного певца и эллиниста музыкословесного Хаджи Атанасия фигурировали: многоученый эллинист и доктор дед Иоси, лечивший решительно все болезни желудка тартарозметикой³⁹; затем верный блюститель традиций школы Гырбы о. Ставри: он продолжал писать с острыми и тупыми ударениями; далее, два безгласных, но, видимо, сведущих слушателя, так как оба они глубокомысленно кивали головой всякому, кто брал слово, к какому бы лагерю тот ни примыкал. Наконец, Иван Капзамалин, постоянный покупатель товаров Иванчо и сват о. Ставри.

Иванчо Йота, естественно, присоединился к лагерю эллинистов, а Хаджи Смион, увидев это, пристал к партии вольтерьянцев. Помощник учителя Мионовский соблюдал нейтралитет.

Спор становился все горячее и ожесточенней, так как, несмотря на свирепость вольтерьянцев, эллинисты не хотели уступать ни пяди; наоборот, они предъявляли еще более страшные притязания, чем обычно. Музыкословесный Хаджи Атанасий непременно хотел, чтобы ζ , и μ заняли свои прежние почетные места в азбуке; Петко Мираз, настроенный более умеренно, настаивал на возвращении одних только ψ и θ . Отец Ставри был неукротим: он требовал восстановления титл⁴⁰; но в конце концов отступил и согласился на то, чтобы сохранить их только над словами «бог» и «ангел». Иван Капзамалин и оба немые слушателя тоже поддерживали эти требования, сочувственно кивая головой, а многоученый эллинист и доктор дед Иоси попросту предлагал перейти на греческий алфавит.

Хаджи Смион, еще вздрагивавший от гнева при каждом взгляде на свое плечо, то и дело зло посматривал на Йоту, которого при этом прошибал холодный пот.

Желая поскорей насладиться мщением, коварный Хаджи Смион подошел к учителю Гатю, который в этот момент давал горячий отпор

39 Тартарозметика — рвотное средство, в состав которого входит винный камень.

40 Титлы — надстрочные знаки над сокращенно написанными словами в древних славянских рукописях.

эллинистам, и подтолкнул его локтем. Тот обернулся и поглядел на Хаджи Смиона вопросительно.

— А как насчет йоты? — промолвил Хаджи Смион и бесстыдно ослабил на Иванчо, которого уже не боялся, так как имел теперь, помимо учителя, таких сторонников, как дед Нистор, не прощавший Йоте скоромного стола в рождественский пост и гонявшийся за ним с чубуком всякий раз, когда тот высказывался неуважительно о патриархе; как Мирончо, презиравший Иванчо и называвший его «Иван Йотович ничтожный»; как хозяин кофейни, по характеру своему большой противник йоты и мух.

Иванчо вспыхнул и покраснел до ушей. Учитель Гатю засмеялся и поглядел на него с сожалением:

— А с вашей йотой, бай Иванчо, как быть?

Такое полунасмешливое-полупрезрительное отношение к йоте задело Йоту. Окинув предательски ухмыляющегося Хаджи Смиона огненным взглядом, он грубо ответил:

— Ты скажи, небось ты учитель? Так зачем меня спрашиваешь? Ты ведь учитель?

— Я считаю, — высокомерно промолвил тот, — что и над ней надо пропеть «вечную память», как над остальным поповским и дедовским хламом.

— Настоящий вольтерьянец, — прошептал о. Ставри.

— Прошу прощения, прошу прощения, — гневно промолвил Иванчо. — Это не одно и то же. Йота — статья особая. Ты эти песни пой отцу Ставри, а Иванчо не проведешь... Он этим штучкам цену знает.

Отец Ставри зверем поглядел на своего союзника-обидчика. Обоих борцов окружила толпа любопытных.

— Смелей, Иванчо! — поощрительно крикнул Йоте Хаджи Атанасий из лагеря эллинистов.

— Bravo! — невольно вырвалось у Хаджи Смиона, примыкавшего к лагерю вольтерьянцев.

Иванчо приободрился, а несколько опешивший учитель Гатю, видя, что победа достанется не так-то легко, вздрогнул и повел ожесточеннейшее нападение на Йоту. Но Йота стал возражать ему очень разумно, припугнув заявлением, что располагает таким доказательством, при помощи которого может, если захочет, припереть его к стенке.

— Докажи! — сердито крикнул учитель Гатю.

— Да, да, докажи! — поддержал его Хаджи Смион.

— Посмотрим! — проворчал дед Нистор, изо всех сил пытаясь чубуком.

Немного помедлив, чтобы собраться с силами, Иванчо принял важный вид и начал:

— Во-первых, йота нужна для того...

— Ни на что не нужна! — нетерпеливо перебил учитель.

— Никаких йот! — взревел Мирончо.

— Нет, нужна! — упрямо твердил Йота.

— Не нужна!

— Нужней, чем ижица!

— Не нужна, да и только! — ожесточенно вопил Хаджи Смион. — Уж мне ли не знать? В Молдове одно только и употребляют! Не нужна вовсе!

— Одно дело — по-молдавски, а другое дело — по-нашему, православному, — возразил о. Ставри.

— Язык языку рознь, — заметил с достоинством дед Иоси.

— Во-первых, — продолжал Иванчо, кидая грозный взгляд на Хаджи Смиона, — во-первых, потому что йота имеется в церковных книгах, в предании святых отцов и прочее... Или мы теперь отрекаемся от всех чтимых нами старых творений?

Аргумент пришелся по вкусу о. Ставри; он громогласно ответил на поставленный оратором вопрос:

— Этому не бывать!

— Противозаконное дело. Без йоты невозможно, — сладостно пропел музыкословесный Хаджи Атанасий.

— Клянусь Гиппократом... Какой может быть вопрос? Когда все ясно, — поддержал с глубокомысленной усмешкой дед Иоси.

— Bravo, Иванчо Йотович! — воскликнул Мирончо; с некоторых пор Иванчо стал казаться ему йотой, которая соединена со своей точкой при помощи тоненькой черточки (такое впечатление производила фигура Иванчо — туловище, шея и голова на фоне окна).

Втайне обругав Мирончо, Иванчо продолжал:

— Во-вторых, йоту нельзя выкидывать еще потому, что скажи, сударь мой, как ты напишешь, например, «сотворение мира»?

Этот премудрый вопрос привел в восторг о. Ставри.

— Да, да, «сотворение мира»... — язвительно подхватил он, обращаясь к учителю. — Впрочем, господь их знает, этих вольтерьянцев: они, чего доброго, и в создание мира не веруют.

— В-третьих, — все более воодушевляясь, продолжал Иванчо, — в-третьих, йота есть украшение грамматики, что явствует, например...

Учитель Гатю громко захохотал.

— Украшение грамматики? Bravo! Ну, например?

— Например, — ответил Иванчо, оглядываясь, — напиши «Хаджи Атанасий» через и — безвкусно, некрасиво. А напишешь через йоту — хорошо получится, словно отродясь так и было.

Музыкословесный Хаджи Атанасий весь покраснелся от удовольствия, видя, что имя его послужило неопровержимым доводом в споре.

— Без йоты невозможно, как ни вертись, — промолвил он. — В конце концов я готов подарить вам и ζ, и θ, но за йоту голову сложу!.. Мое слово твердо.

— Жертвую ы, но йота должна остаться, — сказал Поштянка.

— И я посылаю к чертям титлы Гырбы, но йоты не уступлю. В ней — наша вера! Кто ее тронет, тому — анафема! — громогласно объявил

о. Ставри, заражаясь либерализмом своих союзников.

— Это зря; ничего вы не понимаете, — с отчаянием промолвил дед Иоси.

Иванчо торжествовал. Он встретил горячую поддержку со стороны своих союзников, тогда как учитель Гатю давно смяк, не получая от своих никакой помощи. Он оказался генералом без армии. Даже дед Нистор изменил ему: он только дымил чубуком и одобрительно кивал о. Ставри. Мирончо слушал невнимательно, так как презирал все на свете, кроме восточного вопроса. Хозяин кофейни в самый разгар борьбы сел играть с Иваном Капзамалиным в кости. Господин Фратю, глядя в зеркало, показывал самому себе язык и старался увидеть свой собственный затылок. Головрат же уставился в отметки мелом на двери и, когда учитель Гатю оглянулся на него, ища взглядом одобрения своим словам, с серьезным видом заметил:

— Ровно семьдесят восемь порций кофе.

Оставался один верный союзник — Хаджи Смион, слабоватый по части грамматики (другое дело — вопросы политические). Что касается помощника учителя Мироновского, то он пребывал нейтральным.

Но на вершине триумфа Иванчо угораздило крикнуть:

— Долой Вольтера! Долой греческого патриарха!

— Молчать! — взревел дед Нистор, замахиваясь на него чубуком.

Это неожиданное заступничество за Вольтера ободрило учителя.

— Да здравствует Вольтер! Долой йоту! — вспылив, крикнул он и пригрозил, что разоблачит противника в специальной корреспонденции, сообщив в ней, что тот завертывает красный перец в школьную газету.

— Долой антихриста! — воскликнул опять дед Нистор, сердито угрожая чубуком Иванчо. Потом, обращаясь к Хаджи Атанасию и о. Ставри, проворчал:

— А? Каково? Эти олухи ничего не понимают. А я сижу, слушаю!

— Нету прежней учености, нету, — ответил Хаджи Атанасий, отворяя дверь.

— Зря, зря, — сокрушенно повторял дед Иоси, уходя.

ХIII. Прогулка

После обеда компания собралась снова и, за вычетом двух вольтерьянцев и большинства эллинистов, направилась к монастырю, обычному месту загородных прогулок. Проходя мимо корчмы Аврамча Распопче, они завернули туда — осушить по стаканчику киселярского вина, пользовавшегося особенным успехом благодаря тому, что его покупали учителя. Оттуда пошли к Караджовскому колодцу, где всей компанией плясали хоро⁴¹, которое Мирончо дважды обвел вокруг родника. Потом он повел всех к Капану; там, ни слова не говоря,

41 Хоро — национальный болгарский массовый танец.

свернул во двор, и все за ним. Капан в тот день принимал гостей; обе комнаты дома были полны народом; присутствующие сидели по-турецки вдоль стен. Компания поздоровалась с хозяином и его домочадцами и разместилась как попало. Мирончо бесцеремонно протискался в угол, отдавив чорбаджи Цочко ногу и запачкав ему своим башмаком чулок. Иванчо, разувшись, сумел благодаря своим малым размерам без особого труда втиснуться между двумя коленями, принадлежащими разным владельцам. Хаджи Атанасий и остальные поместились среди женщин. Только Хаджи Смион, тоже в одних чулках, остался стоять, озираясь с улыбкой по сторонам; но и он, увидев забившегося в угол Мирончо, направился к нему и, сам не подозревая об этом, приютился в объятиях чорбаджи Цочко.

У Капана пелинаш⁴² был, как видно, не хуже Аврамчева, так как, выйдя от него, Мирончо зашагал по-военному, и вся компания последовала его примеру, покрикивая вполголоса: «Раз, два, три! Раз, два, три!» Хаджи Смион, слышавший в Бухаресте в 1848 году, когда Киселев⁴³ управлял Румынией, русскую команду, наблюдал их марш и делал строгие замечания:

— Правей, Иванчо! Учитель, не выходи из рядов! Быстрей, Хаджи, по-русски!

И все повторяли:

— Раз, два, три! Раз, два, три!

Стоявшие у ворот женщины при виде этого воинственного отряда струхнули; однако те, что помоложе, не могли удержаться от смеха, глядя на Мирончо, шагающего впереди, наклонив голову, и печатающего: раз, два, три! И все повторяли за ним: раз, два, три! А им вторила следовавшая за ними толпа ребятишек.

Но вся воинственность отряда исчезла сразу, словно по мановению волшебной палочки, как только из-за угла появился алый фес онбаши⁴⁴. Хаджи Смион храбро встретил турка, приветливо с ним поздоровался, осведомился о здоровье и спросил, который час.

— Чего вы испугались? — сказал он, когда представитель государственной власти отбыл. — Он такой же человек, как все.

— Убей его бог! Агарянин⁴⁵ — не человек, — проворчал Хаджи Атанасий.

— Известное дело, не человек. Я просто так сказал, — сухо ответил Хаджи Смион.

Наконец компания достигла зеленой поляны перед монастырем и расселась на траве, продолжая шуметь и громко разговаривать. Мирончо рассказывал Хаджи Смиону и одному торговцу шнурками

42 Пелинаш — виноградное вино с полынью.

43 Киселев — граф П. Д. Киселев (1788–1872), глава русской администрации в Валашском и Молдавском княжествах в период 1828–1834 гг.

44 Онбаши (турец.) — начальник полиции в маленьком городе.

45 Агарянин — мусульманин, турок.

какой-то смешной молдаванский анекдот. Иван Стамболия и Головрат беседовали о ценах на пряжу в три нитки. Учитель Гатю и Иванчо Йота опять сцепились по поводу правописания; но господин Фратю вмешался, заговорив с учителем по-французски, то есть прочитав затверженные наизусть первые строки из «Телемаха»⁴⁶: «Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse»⁴⁷ и т. д., чтобы произвести впечатление на торговцев шнурками, чем страшно рассердил Иванчо, который, кроме гордости Мирончо, ненавидел также румынский язык. А Хаджи Атанасий убеждал Чона Поштянку признать патриархию, так как она распределяет мир. Только помощник учителя Мироновский отстал, погрузившись в размышления о собственной фамилии, которая сперва была Милчев (в Ловече), потом стала Минович (в Тетевене), потом Миронов (в Штипе) и, наконец, превратилась в Мироновский (Селямсыз называл его уже Мироносковский).

Наконец все стали просить Мирончо что-нибудь спеть. Это очень задело музыколюбивого Хаджи Атанасия, тоже славившегося своим сладкогласным пением в церкви.

— Что спеть? — спросил Мирончо.

— «Где, о голубь мой?» — сказал Поштянка.

Мирончо ничего не ответил, только сдвинул брови, торжественно снял с головы фес и, подмигнув Хаджи Смиону, кинул:

— Подтягивай, Хаджи!

— Мы все будем подтягивать, — ответил Хаджи Атанасий.

Мирончо, подняв глаза к облакам, запел:

Где, о голубь мой,

Ты стремишь свой лет?

Ревность злой змеей

Сердце мне сосет!

На чудную высоту поднял певец голос свой, залился, замер на ней, потом опустил его вниз, и загремел, и опять замер в любовном вздохе, и вся компания повторила последний стих куплета. Зефир подхватил эти приятные, гармонические звуки, отнес их в листву ив и орешника, смешал с шумом реки и доставил в спальню игумена, нарушив его послеобеденную дремоту.

После Мирончо пели другие; между прочим, Хаджи Атанасий спел новую «Херувимскую».

Учитель Гатю взобрался на большой камень, носивший название «Вол».

— Скажи нам оттуда речь, учитель! — крикнул Иван Бухал.

— О чем?

— О чем хочешь, — ответил Головрат.

— О грехопадении Адама и Евы, — сказал, смеясь, Мирончо.

— О побежденном Никифоре, — откликнулся Хаджи Смион, кинув

46 ...Из «Телемаха». — «Приключения Телемаха» — известный назидательный роман французского писателя архиепископа Фенелона (1651–1715),

47 Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса (франц.)

убийственно-иронический взгляд на Йоту (Хаджи Смион был весьма сведущ в болгарской истории, с которой был знаком по песне «Захотел гордый Никифор»⁴⁸).

— О малом poste, который скоро наступит, — сказал осторожный Хаджи Атанасий, так как боялся песен, способных навлечь на его голову беду.

— О свободе! — воскликнул господин Фратю, оттолкнув учителя и заняв позицию на «Воле».

— О свободе! О свободе! — в восторге закричали все, так как господин Фратю считался первоклассным оратором.

Господин Фратю воодушевился, воздел руки и глаза к небу, взъерошил волосы на голове и, приняв театральную позу, начал торжественно-высокопарно, в современном духе:

— Братья! Атмосфера накалилась! Горы содрогаются и долины стонут от рева скованного балканского льва! Libertè! O libertè!⁴⁹ Придет время, и ты воцаришься в этих прекрасных местах, где теперь вздымается сатанинский полумесяц нашего пятивекового врага и притеснителя! Скоро на величественных вершинах нашей старой матери (он указал на Стара-планину), где в течение целых столетий лилась болгарская кровь, будет развеяться гордое знамя болгарского героя, внука славного Крума, Асеня и Симеона⁵⁰. Уже грянул первый ружейный выстрел нашей libertè — и знаете, о чем говорит этот гром? Подымайтесь, храбрые болгары! Конец рабству и притеснениям! Братья! Атмосфера накалилась!..

— Да здравствует Болгария! — восторженно воскликнул учитель Гатю.

— Учитель, идем в участок. Тебя бей требует! — слышался чей-то грубый голос, произнесший эти слова по-турецки.

Все в ужасе расступились, давая дорогу жандарму.

XIV. Атмосфера накалилась

Оратор все стоял на камне, выпрямившись, окаменелый и неподвижный, подобно древней Галатее⁵¹. Хаджи Смион притулился за толстым стволом орехового дерева. Хаджи Атанасий спрятался за Мирончо, у которого возглас «браво!» замер на устах. Остальные стояли с раскрытыми ртами, в полной растерянности.

48 «Захотел гордый Никифор» — популярная в Болгарии патриотическая песня о неудачном походе византийского императора Никифора против болгарского князя Крума; слова песни принадлежат Найдену Герову.

49 Свобода! О свобода! (франц.)

50 Крум, Асень, Симеон. — Болгарские цари: хан Крум (803–814), Асень I (1187–1196) или Иван-Асень II (1218–1241) и Симеон I (893–927), победоносно сражавшиеся с Византией.

51 Галатя — имя прекрасной девушки, изваянной легендарным греческим скульптором Пигмалионом. Богиня любви Афродита, вняв мольбе скульптора, оживила статую.

Жандарм повторил приказание.

Учитель Гатю, несколько опомнившись от изумления, оделся, шепнул помощнику «Спрячь все» — и твердо промолвил:

— Идем, Гасан-ага.

Они ушли.

Перепуганная компания понемногу пришла в себя. Помощник учителя Мироновский юркнул в кусты и исчез. Все сбились в кучу и стали обсуждать совершившееся.

— Зачем вызвали учителя? — спросил Иван Капзамалин, у которого даже нос побелел.

— Как зачем? Разве ты глухой? Я ведь сказал: о poste надо было речь говорить... Вот вам и «атмосфера накалилась» и «да здравствует Болгария!» — мрачно произнес Хаджи Атанасий.

— Не верю, чтобы это было из-за речи, — сказал Мирончо.

— Как? Тогда за что же?

— Чтоб услышать эту речь, сидя у себя в конаке, бей должен был бы иметь уши длинней ослиных, а Гасан-ага — быть каким-то волшебником, чтоб так скоро перепорхнуть сюда. И потом — забрали бы и Фратю.

— Тут другое. Учитель, наверно, заварил какую-нибудь кашу, — многозначительно прошептал Поштянка. — Этого человека прямо с улицы взяли, не спросивши, кто он такой, откуда, и поставили учителем... Еще спалит все село, того и гляди. Очень просто.

— Не бойтесь, братья! Кураж!⁵² — промолвил господин Фратю, испуганно озираясь.

— Где Хаджи Смион? — спросил кто-то.

Все оглянулись по сторонам.

— Куда-то убежал.

— Вот он!

Хаджи Смион показался из-за орехового дерева, без шапки, белый как полотно.

— Ушли? — спросил он и, оглядевшись, прибавил: — Что теперь делать?

— Говорите! — озабоченно промолвил Мирончо.

— Я убегу, — объявил Хаджи Смион.

— Убежишь?

— С какой это стати — бежать? Кто заварил кашу, тот пусть ее и расхлебывает, — сурово произнес Хаджи Атанасий.

— У меня совесть чиста. Я политикой не занимаюсь, — смиренно промолвил Иван Капзамалин.

— И я тоже, — откликнулся Иван Бухал беспечно.

— Моя политика — у меня на ночном колпаке. Пускай бей приходит, — она и ему будет по вкусу, сакраменто дио⁵³, — заявил Мирончо.

52 Не робеть (франц.)

53 Черт возьми (итал.)

Иванчо молчал. А господин Фратю воскликнул:

— Не волнуйтесь, братья! Свобода требует жертв...

— Что ты там ищешь, Хаджи? — спросил Мирончо.

— Свой фес.

— До него ли теперь? Иди сюда.

— Зачем?

— Надо посоветоваться, что делать.

— Я убегу.

— Убежишь?

— Убегу.

— Ты с ума сошел!

— Ничуть не бывало.

— А мы все остаемся.

— Убегу.

— Один?

— Нет, с фесом своим, — ответил Хаджи Смион, возобновляя поиски.

— Как? А жена, а дети? — спросил Хаджи Атанасий.

Хаджи Смион поглядел на него растерянно.

— Какая жена? Какие дети?

— Твои.

— Мои? Ах да, ты прав. Никуда не побегу. Где их повесят, пусть и меня там... Но куда же девался мой фес, черт возьми?

И он окинул взглядом головы товарищей. Потом промолвил:

— Видно, тот забрал.

— Да, да, учитель взял его, — подтвердил Головрат.

— А его фес где?

— Да вон он, на суку висит... Возьми его, Хаджи, и пойдем, — сказал Мирончо.

— Я? Упаси боже.

— Бери. Не все ли равно?

— Что я? С ума сошел? Фес бунтовщика! Ох! — И он схватился за голову.

— Что случилось? — спросил Мирончо, заметив, что Хаджи Смион страшно побледнел.

— Да тот теперь в моем фесе перед беем стоит! Я пропал!

— Кураж, Хаджи! Свобода покупается дорогой ценой, — зловеще изрек господин Фратю.

Хаджи Смион поглядел на него с испугом, потом, совсем растерявшись, спросил:

— А если нас арестуют?

— Арестуют — свяжут, — кислым тоном ответил Мирончо.

— Неужто свяжут?

— А потом — веревку на шею.

— Ну, а потом?

— А потом затянут — и кончено.

— Это ясно.

— Я убегу.

— Куда?

— В горы, на вершины, к хэшам, к воеводе Тотю и Хаджи Димитру. Драться буду.

Несмотря на серьезность положения, это внезапное проявление воинственности Хаджи Смиона рассмешило всю компанию. Но Иван Стамболия успокоил его:

— Чтобы нас повесили — этого я не думаю. Что мы такое сделали, чтобы вешать нас? Ну, может, придется две-три ночи на голубятне провести, пока не разберутся.

— Это пустяки, — ободрившись, промолвил Хаджи Смион. — Слава богу, совесть у нас чиста. Идем, а там — что бог даст. Не робейте.

Но тотчас остановился и обернулся к Йоте.

— Иванчо!

— Что такое?

— Давай обменяемся фесами. Этот на колодке сидел и к тебе больше пойдет.

— Не надо мне его, — благоразумно отказался Йота.

— Ей-богу, пойдет.

Иванчо вытянул руки вперед и отбежал в сторону, ускользая от настойчивой руки Хаджи Смиона.

— Ну, возьми ты себе, Хаджи Атанасий.

— Что ты, что ты, что ты! Я, старик, — в таком фесе?

— Мне тоже не подходит, — сказал Хаджи Смион. И, хищно взглянув на Иванчо, прибавил:

— Да в чем дело? Ты что? Феса боишься?

В чаще как будто кто-то показался.

— Жандармы! — вскрикнул один из присутствующих.

— Сакраменто дио! — тревожно промолвил Мирончо. — Эти агаряне — такие скоты. Того и гляди устроят нам ловушку и замучают, по судам таская. Проклятое время!.. Иди тогда, кланяйся чорбаджи Цочко.

— Тебе что? У тебя патент. А вот мы, бедные, — жалобно протянул Хаджи Атанасий. — Эх, «атмосфера накалилась»!.. Где они теперь? Хотелось бы на них посмотреть, — прибавил он, ища взглядом учителя и господина Фратю.

На лице Мирончо вдруг появилось выражение решительности. Он побледнел.

— Если это за нами, давайте запремся в монастыре, — сказал он, глядя в чашу.

Все посмотрели на него с изумлением.

— Запремся в монастыре и будем защищаться, — продолжал он. — В башнях есть бойницы, а у отца игумена пороху на целое войско... Тут настоящий Севастополь!⁵⁴ Пусть только сунутся, негодяи... Перебьем

⁵⁴ Тут настоящий Севастополь. — Героическая оборона Севастополя (1854–1855) произвела неизгладимое впечатление в Болгарии как свидетельство мужества и стойкости русского народа.

их как собак — и в горы...

Лицо Мирончо стало страшным.

Все глядели на него с ужасом.

— Где Фратю? — спросил он, желая знать мнение последнего.

Господина Фратю нигде не было. Он испарился. Только через минуту заметили они кисточку его феса, то мелькавшую на подъемах, то исчезающую где-то среди огородов.

— Сбежал! — раздался общий негодующий возглас.

— «Атмосфера накалилась!» А сам где сейчас? — крикнул в бешенстве Хаджи Атанасий.

XV. Господин Фратю

В самом деле, господин Фратю, словно африканский ураган, словно бурный вихрь, несущийся летом в поле, бешено мчался по огородам, нивам и лугам, оставляя за собой легкий шум рассекаемого воздуха. Он сам не заметил, как перемахнул через две широкие канавы с водой и несколько препятствий в виде изгородей вокруг луковых гряд. В два прыжка преодолел он Долгий курган, даже не заметив исполинской Карачомаковой орешины, стегнувшей его своими ветвями, и, наконец, оказался возле села. Но тут он остановился, растерянно озираясь и сам не зная, куда податься.

Вдруг его осенила какая-то мысль, и он снова бросился бежать. Его длинное сетре развевалось, словно победное знамя, а кисточка вела себя так, будто стремилась упорхнуть в небо. Возле кошары чорбаджи Цочко за ним погнались овчарки, так как он испугал стадо. Но господин Фратю оставил им в виде добычи кусок полы и продолжал свой бег.

Добежав, задыхаясь, до края села, господин Фратю покинул большую дорогу, свернул в сторону и вступил в село через сад чорбаджи Цачо, две стены которого взял приступом. Потом кинулся в питомник роз Хаджи Димо, проник во владения Шашова, выдержав ожесточенный бой с обросшей терном изгородью, которая нанесла славные раны его сетре; взобрался по низкой стрехе на крышу дома деда Постола и прыгнул в узкий темный тупик, упиравшийся в ворота Батора. Теперь только Баторов двор отделял его от его собственного, но Батор и жена его были люди вздорные и страшно враждовали с семьей Фратю. Увидев его у себя во дворе, они погнались за ним — Батор с мотовилом, а Баторка с веретеном — вместе с собаками и гусями. Но господин Фратю проворно взобрался по лесенке, прислоненной к виноградной лозе, бросился на черепицы, зароптавшие у него под ногами, а оттуда спустился к себе по суку Баторовой черешни, который сейчас же опять выпрямился, захватив с собой в виде платы за проезд порхающую кисточку. Затем он взбежал вверх по лестнице, пронесся ураганом через сени на галерею, ворвался в новую комнату и открыл сундук, где у него лежали уже два года ни разу не пустовавшие серебряные кобуры его отца. Мать его, в

испуге за ним следовавшая, при виде их вскрикнула. Но господин Фратю не притронулся к оружию, а вынул из угла сундука книжку в старом выцветшем переплете под заглавием «Лесной путник», потом одну зеленую брошюрку, носящую название «Гайдук Янчо», потом два уже сильно зачитанных номера «Будущности»⁵⁵, потом «Голос болгарина», потом «Райну княгиню», потом полтора номера «Народности»⁵⁶, потом изображение Болгарии в оковах, работы Мутевского, и, наконец, несколько бунтовщических песен в рукописных списках, — среди них песню «Захотел гордый Никифор». Тут же он снял со стены портрет покойного Хаджи Нончо, как говорят, похожего на Тотю. Все это он смял, скомкал, сгреб и бросил в огонь под котлом, где вываривалась краска из коры орехового дерева.

Совершив это *auto-da-fe*, господин Фратю вскочил и скрылся на сеновале, приказав сквозь щелку старухе служанке, чтобы та пошла к колодцу и сориентировалась в политической обстановке, а если кто спросит, так чтоб ответила, что он куда-нибудь уехал, — например, на целебные воды.

XVI. Варлаам распространяет прокламации

Компания стояла на поляне перед монастырем в напряженном ожидании.

Вместо жандармов появился Димо Казак.

— Казак! Казак! — закричали все, двинувшись ему навстречу.

— Скверное дело! — произнес он, тяжело дыша.

Все испуганно переглянулись.

— Тарильом подвел! — прибавил он, переводя дух. — Негодяй.

— А! Это из-за рыбьего хребта, наверно? — спросил Хаджи Атанасий.

Казак поглядел на него свирепо.

— Да нет же, пусть он его в пасть себе сунет и подавится, — сурово сказал он.

— Не верю, чтоб он сделал это нарочно, — заметил Хаджи Смион.

— А зачем вызвали учителя? — спросил Иванчо Йота.

— Его связали? — вставил Хаджи Смион.

— С какой стати будут вязать учителя? — проворчал Казак. — Учителя бей вызвал по другой причине...

— Знаю, знаю, — перебил догадливый Хаджи Смион, сразу успокоившись. — Чтобы тот прочел ему какую-нибудь старую купчую. Сам-то не больно грамотен — вроде меня.

— Какую старую купчую? — зверем зарычал на него Димо

⁵⁵ «Будущность» — еженедельная болгарская газета, издававшаяся Г. Раковским в 1864 г.; один из наиболее ранних печатных органов болгарской революционной эмиграции.

⁵⁶ «Народность» — еженедельная болгарская газета, издававшаяся в Бухаресте в 1867–1869 гг., орган Тайного болгарского центрального комитета, стоявшего на позициях компромиссного либерально-буржуазного разрешения вопроса о национальной независимости Болгарии.

Казак. — Какую там купчую? Прокламацию! Прокламацию бухарестского комитета!

Все остолбенели.

И Димо Казак взволнованно рассказал им, что сегодня после полудня Варлаам приклеил на своих воротах прокламацию, говорят, с портретом Тотю-воеводы, а Селямсыз, растолкав читавших ее любопытных, взял и тут же отнес ее бею. Это страшно всех удивило, потому что никому не могло в голову прийти, чтобы смиренный Варлаам был таким опасным человеком. Особенно испугался Хаджи Смион: он вспомнил, что сегодня был у Варлаама и тот даже просил у него ружье, о чем Хаджи Смион тут же рассказал товарищам. Мирончо стал кричать и бранить «предателя» Селямсыза, поклявшись, что придет время, — он повесит его на его собственных воротах, как Варлаамов хребет. Иванчо также выразил негодование по поводу «предательства по отношению к народу», совершенного Селямсызом, браня в то же время и невежественного Варлаама, который от природы не годится в бунтовщики. Но Иванчо был страшно потрясен, услышав от Казака, что онбаши ищет его, Иванчо, так как у него в комнате над лавкой всю ночь до самого утра горела свеча, и это показалось странным. Приятели стали перешептываться, кидая подозрительные взгляды на обе опасные личности, от страха дрожавшие, как лист.

После минутного совещания компания изменила свой план и решила идти в город.

— А вы скройтесь, будто вас нет совсем, пока все не разъяснится. С богом! — строго сказал Мирончо, указывая обоим подозрительным на Стара-планину.

Два приятеля некоторое время стояли, потрясенные, уставившись друг на друга в полном молчании. Хаджи Смион, с фесом учителя Гатю на голове, взволнованный, смущенный, растерянный, кинул, наконец, быстрый взгляд в ту сторону, куда ушли остальные, и в отчаянии еще ниже опустил голову. Первым нарушил молчание Иванчо Йота:

— Поддай совет, Хаджи.

Хаджи Смион поглядел на него угрюмо.

— Какой совет? — сердито спросил он.

— Куда нам спрятаться?

— Мне с тобой? Чтоб ты меня погубил?

— Послушай, любезный друг, — на этот раз покорно промолвил Иванчо.

— Какой там еще «любезный»? Какой «друг»? Знать тебя не знаю.

— Послушай, брат, не бойся меня.

— А что ты писал ночью?

— Только не прокламацию, брат.

— Кому говоришь? Ступай себе.

— Постой, брат. Я тебе объясню.

Хаджи Смион поглядел на него высокомерно и недоверчиво.

— Говори, имеешь ты касательство к прокламации?

— Говорю тебе — не имею, — шепотом ответил Иванчо.

— Ты не заодно с Варлаамом?
— Нет, милый брат, — убитым голосом промолвил Иванчо.
Хаджи Смион призадумался.
— Поклянись, что не имеешь касательства.
— Клянусь! Вот!
Иванчо перекрестился.
— Клянись как полагается!
— Как?
— Скажи: лопни мои глаза, коли я что знал.
Иванчо повторил клятву, потом спросил, таинственно понизив голос:
— Может, ты что-нибудь знаешь... и прочее?
— Ничего... Но что ж теперь делать?
— Бежать, брат, бежать!
— Бежать?
— Ну да, бежать в горы, — испуганно твердил Иванчо.
— Так, в горы. А наши жены? Нет, нет, тогда про нас скажут: настоящие бунтовщики... А если мы попадем к Филиппу? Избави боже! Ведь тогда нам придется драться с турками!
— Так как же? Да не бойся ты меня, милый брат.
Хаджи Смион хотел что-то сказать, но вдруг остановился и промолвил:
— Поклянись еще раз.
Иванчо опять поклялся.
— Ну, пойдём, спрячемся в «Нору». Оттуда видно во все стороны; она возле самой горы. Но ежели ты меня погубишь...
И они быстро пошли по полю по направлению к Белому яру.

XVII. Не только инженеры строят плохие мосты

К западу от луга, за бурлящей по камням рекой, вздымается изрытый дождевыми потоками, изъеденный временем высокий берег. Земля здесь такая светлая, что место это называется Белый яр. На верхнем краю яра, прилегающем к Стара-планине, виднеется отверстие размером в человеческую голову, если смотреть на него с луга.

Оно было проделано мотыгами беднячек, обнаруживших там жилу великолепной белой глины и наполнявших этой глиной свои рваные мешки, чтобы побелить перед большим праздником стены своего дома. К этому-то уединенному и удобному убежищу и поспешили опальные приятели.

Вода в реке сильно прибыла, и мутные валы, пенясь, яростно бились об огромные круглые гладкие камни, принесенные сюда дождевыми потоками из самых недр горы. Волны с грозным и диким шумом встали поперек дороги обоим беглецам, заставив их остановиться в недоумении.

Несколько крупных камней, лежащих на одинаковом расстоянии

друг от друга и заливаемых водой, привлекли внимание Иванчо и Хаджи Смиона, образуя случайный и опасный мост, по которому все же можно было перейти на ту сторону.

— Иди, Иванчо, — промолвил Хаджи Смион, в страхе глядя на воду.

Иванчо озирался в смущения и растерянности.

— Поставь ногу вот на этот камень, — продолжал Хаджи Смион, — потом вон на тот, что немножко заливают вода, потом прыгни на тот острый, потом перескочи как-нибудь вон туда, на синюю плиту, что криво стоит, а с нее — хоп на берег!.. Если оступишься — крикни... Я в Молдове похуже одну реку так вот переходил...

Но Иванчо не нуждался в уговорах Хаджи Смиона. Собравшись с духом, он стал на первый камень, потом на второй. Тогда Хаджи Смион принялся воодушевлять и ободрять его, но шум волн заглушил его голос.

На четвертом камне Иванчо остановился неподвижно: вода, бурля, заливала ему ноги. Он испугался, но, услышав ободряющие возгласы приятеля, взял себя в руки и благополучно перепрыгнул на острый камень, на котором почти не было места, где встать. Только тут он понял, на какое опасное дело пошел, ибо один только Марко Королевич мог бы перепрыгнуть через мутную бездну, клокочущую меж двух камней перед ним. Оглушительный рев реки ошеломил его, заставил застыть в оцепенении. Ему показалось, что камень двинулся и плывет против течения. Он хотел вернуться назад, но было уже поздно. Вдруг он закачался, как пьяный, вообразив, что Хаджи Смион выдергивает камень у него из-под ног; он бросился на синюю плиту, но упал в волны, сбившие его с ног своим буйным напором. Между тем Хаджи Смион делал всяческие усилия, чтобы помочь своему бедному другу: кричал, махал руками, отчаянно прыгал, кинул ему свой фес, чтобы тот за него ухватился, и ругательски ругал строителей дрянного моста.

Иванчо еле вылез на берег, промокший до нитки, без феса, без обуви. С рукавов и брюк его, журча, текли мутные ручьи. А в это время Хаджи Смион, решив, что в данный момент благоразумней отложить купанье, пошел искать ниже броду. Напрасно Иванчо выразительно махал ему рукой: иди, мол, тем же путем. Он нашел более удобный переход.

— Хорошо, что ты вылез, — сказал он, снова сойдясь с Иванчо. — Я бы тоже за тобой перешел, ежели бы ты меня не удержал.

— Как? Я? — воскликнул Иванчо со злобой.

— Ну да. Ведь ты махал мне рукой, что перейти нельзя. Но где же твой фес? Тю! И мой тоже пропал! — воскликнул Хаджи Смион, тронув свою голову.

Между тем Иванчо отряхивался, чертыхаясь.

— Хорошо, что я тебя подбодрил. Мне ведь такие широкие реки в Молдове переходить случалось — страшное дело! Это все пустяки... А вот какво в море тонуть? — продолжал сострадательный Хаджи

Смион утешать приятеля, взбираясь вместе с ним вверх по откосу.

Иванчо только пыхтел, напрягая все силы, чтобы идти вперед, так как мокрая одежда стесняла его движения.

Хаджи Смион часто оборачивался назад, чтоб убедиться, что их никто не видит. Они спешили, хватаясь за крепкие корни и бурьян, а иногда продвигаясь вперед даже ползком.

В одном месте, на большой крутизне, оба вдруг поскользнулись и невольно протянули руки, чтоб уцепиться за какое-то зеленоватое корневище. Хаджи Смион ухватился за спасительный предмет, опередив своего спутника, но тотчас в ужасе отпрянул назад: это был хвост змеи. Увидев помертвелое лицо онемевшего от страха приятеля, Иванчо подошел ближе, схватил камень и ударил свернувшуюся кольцом змею по голове. Змея стала отвратительно корчиться и, наконец, застыла. Только хвост ее продолжал шевелиться. Хаджи Смион тотчас снял один башмак и бесстрашно хватил им по воинственному хвосту. Потом торжествуя поглядел на друга:

— Я ее прикончил... Хорошо, что не ты за нее схватился. Перепугался бы.

Наконец они дотащились до входа в пещеру, которая должна была служить им убежищем. Вход шириной в два локтя вел во внутреннее помещение довольно правильной формы, похожее на настоящую пещеру со сводом; пол был покрыт следами пребывания коз. Беглецы юркнули внутрь и только тут перевели дух после трудного, полного опасностей путешествия.

XVIII. Дворец Мунчо

Хаджи Смион забился в глубь пещеры, а Иванчо остался у входа, чтобы погреться в косых лучах заходящего солнца. Хаджи Смион из глубины указывал приятелю, куда смотреть, и время от времени осведомлялся, не видит ли тот кого — скажем, онбаши или...

Иванчо отвечал, что никого не видно. Он был мрачен.

— Скажи по правде, Иванчо: не ты сочинил прокламацию?

— Нет, нет, не бойся, брат!

— Мы не пострадаем?

— Нет.

— Так зачем же мы сюда убежали? — спросил Хаджи Смион.

Иванчо кинул на приятеля меланхолический взгляд.

— Мы мученики за народ, — тихо промолвил он.

Хаджи Смион поглядел на него с удивлением.

— Что ж, и ночевать здесь будем?

— По-моему, надо ночевать здесь, — ответил Иванчо.

— А зверей нет?

— Зверей нет, — ответил Иванчо.

Некоторое время оба молчали.

— Нет, нет, зверей нету. Могут прийти медведи, но только ночью... Будь я сочинитель, как ты, — бормотал Хаджи Смион, думая о другом

и оглядывая свод над своей головой, — я бы описал всю эту историю... Мы с тобой теперь, как Геновева с младенцем⁵⁷ в пещере, помнишь?..

Иванчо не ответил. Он к чему-то внимательно прислушивался.

— Ты что-нибудь слышишь? — спросил Хаджи Смион.

Иванчо сделал ему знак молчать. Оба затаили дыхание.

Послышался шум осыпающегося песка. Как будто кто-то с огромным трудом карабкался по обрыву, видимо, направляясь к пещере. С каждым мгновением шуршание песка слышалось все ближе. Кто бы это мог быть? Двое беглецов боялись выглянуть. Сердца у них страшно бились, глаза были прикованы к входу. Вдруг раздалось нечеловеческое мычание, от которого волосы у них на голове встали дыбом. Песок и куски глины сыпались вниз с сильным шумом; слышался стук мелких камней. Конечно, все это производили чьи-то невидимые шаги. Вдруг опять послышался какой-то непонятный звук, безобразный глухой стон запертой скотины или лесного зверя, и снова — шорох сухого песка и стук камней, быстро скатывающихся вниз по обрыву.

— Сюда идут! — прошептал Хаджи Смион.

Мычание перешло в какое-то дьявольское пыхтение, а через некоторое время — в страшный хрип.

— Зверь! — воскликнул Хаджи Смион, прячась за спину Иванчо.

И тут Иванчо осенило вдохновение. Он решил испугать животное: широко открыв рот, страшно выпучив глаза, мучительно наморщив лоб, безобразно скривив нижнюю челюсть, он издал ужасный, нечеловеческий вопль, похожий одновременно на медвежий рев, ослиное пенье и волчий вой.

Застонала пещера, застонали окрестности.

Хаджи Смион был потрясен. Напрасно он отчаянно махал приятелю рукой, щипал его за локоть, колотил по спине, чтобы тот замолчал, а то онбаши услышит. Иванчо продолжал реветь; глаза его выкатились чуть не на лоб; лицо утратило образ человеческий... Горные долины стонали.

Хаджи Смион почувствовал себя раздавленным.

Вдруг что-то похожее на голову показалось у входа и заглянуло внутрь. Это была голова человека, но чудовищно страшная на вид. Смятое, зверообразное лицо с парой светящихся безумием глаз, свирепо вращающихся и выпученных, заканчивалось острой, перекошенной челюстью, чавкающей и пускающей слюну, наподобие жвачных животных. Нестриженные, свалявшиеся и косматые волосы длинными, скрученными седыми сосульками падали на шею и лицо. Вся голова напоминала чуму, как она рисуется пугливому детскому воображению.

— Юродивый! — воскликнул Иванчо.

— Мунчо! — воскликнул Хаджи Смион.

Юродивый стоял у входа, ухмыляясь и разглядывая гостей. Они

57 ...как Геновева с младенцем — действующие лица популярной в Болгарии в 60—70-е гг. драмы «Многострадальная Геновева» сербского писателя Владимира Йовановича.

не знали, что эта заброшенная пещера с некоторых пор служила местом отдыха для дурачка, который каждый день приходил сюда из монастыря поспать в холодке послеполуденной порой.

— Ах, черт бы тебя побрал, Мунчо! Что ты наделал! — промолвил Хаджи Смион, кисло улыбаясь: с ним, помимо его воли, случилось происшествие, о котором он ни в коем случае не хотел сообщать Иванчо Йоте.

Он ведь такой болтун, этот Йота!

— Он побьет! — проревел Мунчо, плетясь по направлению к ним.

Иванчо испуганно взглянул на Мунчо.

— Это блаженный. Что его бояться? — заметил Хаджи Смион.

— А если он нас выдаст?

— Ты прав. Может, это шпион, — сказал Хаджи Смион, призадумавшись.

Но Мунчо ни на что не обращал внимания. Теперь он окончательно вступил в свой дворец, бесцеремонно занятый незваными пришельцами, впрочем дружественными. Эта непринужденность поведения Мунчо вернула ему доверие беглецов.

— Не станет он предавать нас; ведь он — блаженный! — промолвил Хаджи Смион, глядя с любопытством на Мунчо, который, выпучив глаза, хрустел пальцами и мотал головой.

— Черт бы тебя побрал, Мунчо! Что ты наделал! — повторял про себя Хаджи Смион с кислой улыбкой.

Иванчо Йота тоже успокоился. Он даже принялся с любопытством рассматривать зверя, заставившего его издать страшный богатырский клич, способности к которому Иванчо не подозревал в себе и сам удивлялся ей.

Со своей стороны Мунчо глядел на них дружелюбно. Он чавкал, вращал глазами, вертел головой и улыбался гостям, радуясь, что они оказали ему честь своим посещением.

Вдруг Иванчо пришла в голову мысль отправить Мунчо послем к отцу игумену с просьбой снабдить их шапками, обувью и хлебом и тайно известить обо всем их домашних. Хаджи Смион одобрил этот план.

— Он меня побьет! — заревел Мунчо, услышав имя о. Амвросия.

— Никто тебя не тронет, Мунчо, — сказал Хаджи Смион, подавая Иванчо кусок бумаги и огрызок карандаша.

— Напиши ты. Я весь в грязи. Фу, свинство какое! — промолвил Иванчо с жалким выражением лица.

— Нет, нет, ты напиши, как в писании. Отец Амвросий — русский и читает только по-русски. Я в Молдове только слышал, как говорят по-русски, а писать не умею, — ответил Хаджи Смион.

Иванчо не без гордости кивнул в знак согласия. Написав по-русски письмо, он прочел его вслух приятелю, ища взглядом его одобрения.

— Правильно, — сказал Хаджи Смион.

Но понимая, что ежели такое письмо, к тому же написанное по-

русски, попадет в руки властей, тогда дело — дрянъ, он поставил свою подпись ниже подписи Иванчо (полное имя и прозвание Хаджи Смиона были: Хаджи Смион Хаджи Кунин Кондрачиоглу, но он имел обыкновение подписываться сокращенно: Х.Сміон К.).

Вот что содержало в себе это письмо и какую оно имело форму:

«Пречестній отче Амвросій, благослові! По причіне агарянского гоненія и прочія, скрылись мы в пещере Белого яра, находящейся (где — о том известно вашей святости), и молим вас умільно и сердцеоткровенно, постарайтесь об избавленіи нашем и препослите с богоугодным человеком Мунчо (іже приходящій сюда), да принесет нам вечером под укритіем мрака пару обуви, і хлеба, і два феса (а буде не імеете, препосылайте две шапки, сіречь меховые) і известуйте в домаші, что мы живы и здоровы, і пусть они за нас не страшатся, ібо невинность наша есть і прочія.

Узнайте, яко великую опасность мы претерпехом от кораблекрушенія і змея проклятого и прочія напасти, но вашімі молітвамі победа даровалась нам.

Благословите.

Ваші покорные чада

Иоанн Иотов

Х.Сміон К.

(Секретно)».

Потом они обратились к Мунчо, чтобы вручить ему это важное послание.

— Он побьет! — опять промычал тот, мотая головой и тараща глаза на письмо.

Наконец Мунчо согласился отнести письмо, после того как ему сказали, что оно содержит просьбу к игумену не бить его.

Дурачок вышел из своего дворца, и два приятеля остались одни в ожидании.

XIX. Помощник учителя Мироновский

Помощнику учителя Мироновскому было всего двадцать пять лет. Он был сухощав, скромн и очень застенчив. Говорили, что при виде молодой женщины он спотыкался, и особенно часто это случалось с ним, когда он проходил мимо ворот чорбаджи Иеронима, где весь день глазели на прохожих бойкие хозяйские дочери. Только однажды обменялся он несколькими словами со старшей из них. Это было так. Когда он проходил мимо, она с ним вежливо поздоровалась:

— Добрый день, господин Мироновский!

— Добрый день, сударыня! — ответил он, вспыхнув, и поспешно прошел мимо.

Но, несмотря на застенчивость, помощник учителя Мироновский одевался очень тщательно, каждый субботний вечер сажал свой фес на колодку, по воскресеньям утром, перед тем как идти в церковь, брился, чтобы лицо выглядело свежим, по праздникам надевал новые суконные брюки со складкой (ради этой складки он клал их на целую

неделю под большой сундук), каждый вечер начищал свою обувь, усиленно пил бузу, чтобы пополнить, и регулярно посещал видных граждан города — из политических соображений. Больше всего почтения он оказывал чорбаджи Карагъзоолу.

— Как себя чувствуете, учитель? — благосклонно спрашивал его чорбаджия.

— Отлично, благодарю вас, — отвечал помощник учителя, любезно улыбаясь.

— Как ребяташки себя ведут? Слушаются вас?

— Отлично, благодарю вас.

— А как мой бездельник Гого? Уже читает? Есть у него способности?

— Отличные, благодарю вас.

В праздничные дни помощник учителя водил школьников по домам видных граждан — поздравлять со светлым праздником и славить его песнями. Остановившись посреди двора, он громко запевал с ребятами песню, которую сам сочинил на этот случай. И знатные люди любили его, во-первых, за это, а во-вторых, потому, что он всегда вставал перед ними, и если при этом курил, то тотчас прятал папиросу в карман.

Помощник учителя был человек молчаливый и умел хранить тайну; поэтому учитель Гатю ему одному доверял бунтовщические письма и газеты, которые получал из Бухареста. Помощник учителя Мироновский не читал их никому, кроме госпожи Соломонии, но по секрету, а она по секрету сообщала об этом госпоже Евлампии, а госпожа Евлампия под еще большим секретом сообщала госпоже Евгении Полидоре, а та под величайшим секретом сообщала обо всем своим светским родственникам, — а те уже говорили по секрету чорбаджиям, что необходимо избавиться от главного учителя, находящегося в тайных сношениях с бухарестским комитетом.

Придя в школу, помощник учителя поспешил спрятать опасные документы. Сперва он перенес их с книжной полки в нижний ящик шкафа, а из шкафа — под кушетку, но, не успокоившись на этом, вынул и спрятал под лестницей, а оттуда вынес в бурьян на огороде; но этим дело не кончилось: он перелез через кладбищенскую ограду и засунул их за иконостас в дощатой гробнице чорбаджи Арменко. На этом основании Мирончо впоследствии говорил, и очень остроумно, что чорбаджи Арменко при жизни предавал патриотов, а после смерти выручает их.

Возвращаясь с кладбища, Мироновский увидел о. Ставри, направляющегося ему навстречу.

XX. Отец Ставри

Права была хаджийка бабушка Рипсимия, не веря старому учителю Калисту, когда тот утверждал, будто священники — подлинны апостолы Христовы на земле. В церкви она каждый раз

смотрела на фигуры двенадцати апостолов над алтарем, стоящие на облаках, и тщетно старалась обнаружить хоть какое-нибудь сходство между их благостными восковыми лицами, подстриженными бородами, златоткаными пурпурными кафтанами, с одной стороны, и жандармской физиономией, сизым носом, дремучей бородой и штопанной белыми нитками грязной рясой о. Ставри, с другой. Кроме того, разве может о. Ставри стать на облако, если он такой тяжелый, что осел под ним шатается, везя его на виноградник, и еле ползет, хотя батюшка яростно тыкает его садовыми ножницами? Когда о. Ставри приходит к ним в дом святить воду или служить молебен, он так сильно стегает ее кропилом по лбу, что заливает все лицо, и она некоторое время не в состоянии глаз открыть и не может даже поцеловать ему руку. А сядет пить кофе, — никогда словечка не вымолвит о божественном, а толкует либо о том, что попадья снова в ожидании, по милости господней, либо, что у него позапрошлогоднее вино прокисло, либо, что отец Парфений скрыл часть денег, вырученных от исповеди, которые должны были в общий котел пойти, либо, наконец, что Селямсыз третьего дня опять водку из виноградных выжимок гнал, да не положил довольно аниса, а потому — сколько ни лил воды, облаков не получалось⁵⁸.

Отец Ставри, прежде чем стать священнослужителем, был седельником, а потом оружейником. В описываемое время ему было уже под шестьдесят. Он обладал огромным количеством детей, гайдуцкими усами и прекрасным голосом, особенно по большим праздникам, когда случалось, что кто-нибудь из чорбаджий именинник; тогда о. Ставри читал в честь его евангелие до того сладостно-проникновенно, что сам забывался и выводил нечто похожее на мотив песни «Сон мне снился, матушка моя!», которую они с Селямсызом обычно распевали в саду. Вообще о. Ставри очень уважал чорбаджий, — провожая кого-нибудь из них в могилу, он облакался в самые лучшие свои священнические одежды и все погребальные молитвы читал нараспев. Видимо, это дало повод остроумному Хаджи Ахиллу заметить, что «когда умрет бедняк, священники что надо петь — читают, а умрет богатый, — они и то, что надо читать, поют».

Отец Ставри был очень строгий священнослужитель: он грубо прерывал Хаджи Атанасия, если тот слишком затягивал «Херувимскую», кадил во всех углах церкви, расталкивая народ, и как только увидит, что кто-нибудь не склоняет головы перед кадилом, ворчит:

— Кланяйся, дурак!

Он страшно ненавидел «вольтерьянцев», о которых Хаджи Атанасий рассказал ему много дурного. Ненавидел он и недавно появившихся протестантов, а также переведенное ими евангелие, которое считал произведением вольтерьянским. Как-то раз, после «Со

58 ...облаков не получилось. — Анисовая водка (мастика), при разбавлении ее водой принимает молочно-белый цвет; этот процесс напоминает образование облаков.

страхом Божиим», он, стоя у царских врат, воскликнул:

— Благоверные христиане! Вот что я скажу вам, а вы послушайте: анафема тому, кто ходит к идолопоклонникам и читает их евангелие! Православное евангелие читается по воскресным дням в сем храме Божиим по-церковнославянски. На этом языке и Господь говорил. Аминь!

Сегодня о. Ставри уже побывал в гостях у деда Нистора; от этого нос его покраснел еще больше. Увидев помощника учителя, показавшегося со стороны кладбища, он пошел ему навстречу, громко крича:

— Зачем ходил на кладбище, учитель? Уж не хватил ли укуса из кувшина, как Пищиков мальчишка? Пропади пропадом этот Пищик вместе с байстрюком своим! Будто укус для голоса полезен... Я помню, учитель Атанас — тот все сырые яйца глотал перед тем, как в церковь идти. Хорош голос был у мерзавца! А хороший голос — дар Божий. Да только умер он — в упыря обратился... Прости Господи! Ха-ха-ха!.. А Селямсыз-то каков, антихрист его убей! Я на него в суд собираюсь подать. Знаешь, хлеб у меня отнимает: белую кошку Тарильома Арапкой окрестил... А видел ты портрет Тарильома? Подбросили ему в Карастаповой кофейне!.. Свиньи наши, но и Тарильом — настоящая свинья... Ну, идем — мне за вечерней поможешь... Огневая у деда Нистора водка, словно поцелуй цыганки, — вот и служи тут вечерню. Иди помоги мне! А где вольтерьянец твой? Да ты что побледнел? Лихорадка, что ль, у тебя? Так пей пелинаш — тот, что у Авраама. Нагрузись хорошенько с вечера... А не пройдет, приходи ко мне, к своему батюшке, чтобы молитвы почитал... Значит, сглазили тебя.

Но помощник учителя Мироновский не слышал последних слов о. Ставри. Взгляд его был прикован к жандарму Юсуфу, который показался в воротах.

— Где главный учитель? — спросил Юсуф, тяжело дыша.

— Тут его нет, — ответил о. Ставри. — Это помощник учителя.

— Значит, тоже учитель? Идем в конак, челеби⁵⁹, — потребовал жандарм и повел испуганного помощника учителя к воротам.

Почувяв, что пахнет виселицей, Юсуф решил на всякий случай не возвращаться без учителя.

— Опять работа вольтерьянцев, — пробормотал о. Ставри, надевая на шею епитрахиль, и скоро церковь наполнилась громкими раскатами его голоса.

XXI. Мичо Бейзаде

Только двух человек на свете глубоко уважал чорбаджи Мичо Бейзаде: Мирончо, беседовавшего с ним о восточном вопросе, и почтенного учителя Климента, пламенно описывавшего ему величие

⁵⁹ Челеби (турец.) — господин; почтительное обращение.

России. Дело в том, что бай Мичо был горячим поклонником России и усматривал следы ее участия во всех мировых событиях — от мексиканской революции⁶⁰, входящей в некий гигантский план Горчакова относительно взятия Царьграда, до четы Хаджи Димитра, предводимой некими русскими генералами, присланными из Петербурга для изучения пути на Царьград. А пророческая книга «Предсказания славного Мартына Задеки», вышедшая на русском языке в прошлом столетии и каким-то таинственным путем попавшая в руки бая Мичо, укрепила в нем уверенность относительно скорого падения Турции. Бай Мичо знал ее всю наизусть и читал выдержки из нее в кофейне Джака в подкрепление своих слов о неизбежном изгнании турок, которое осуществит великая Россия. Как-то раз бей, увидев у него на стене портрет императора Николая, спросил, кто это такой.

— Это дед Иван⁶¹ — «наследник», эфенди, — ответил бай Мичо.

Нечего и говорить о том, что бай Мичо считал Россию непобедимой, и все помнят, как в позапрошлом году на экзамене он резко оборвал одного ученика, которому достался билет о Крымской войне. Ученик стал рассказывать об этом событии в том духе, будто Россия была побеждена.

— Ошибаешься, сынок, ошибаешься! Пойди потребуй обратно деньги у того, кто тебя так научил. Никогда Россия не знала поражений!

Но потом, в учительской, обиженный учитель доказал ему с учебником истории в руках, что под Севастополем Россия потерпела поражение. С тех пор он пропал во мнении чорбаджи Мичо: чорбаджи Мичо добился своего избрания школьным попечителем, и с тех пор учитель перестал быть главным.

Когда преподавал еще учитель Климент (русский семинарист, ныне уволенный в результате чорбаджийских междоусобиц), чорбаджи Мичо часто, собрав несколько приятелей, шел с ними в школу. Там он подводил их к карте Европы и говорил:

— Вот, Минко, это желтое пятно — Франция, фиолетовое — Англия, а зеленое — Австрия.

— А где Россия? — спрашивал бай Минко.

— Это вот — Дания, — продолжал бай Мичо, притворяясь глухим.

— А Россия? — спрашивал кто-нибудь другой.

Бай Мичо с торжественным видом и чуть заметной усмешкой многозначительно восклицал, обращаясь к учителю Клименту, который появлялся, чтобы приветствовать гостей:

— Учитель, учитель, пойдя сюда, покажи нам, где Россия!

Тот, еще с порога устремив орлиный взгляд на карту, поднимал руку и обводил на карте большой круг.

⁶⁰ Мексиканская революция — национально-освободительная революция в Мексике, положившая в 1867 г. конец французской оккупации.

⁶¹ ...дед Иван — иносказательное наименование русского народа.

— Страшное дело! — восклицали присутствующие.

А бай Мичо подмигивал им.

— Скажи, учитель, сколько в России миллионов населения? — спрашивал он в сотый раз, когда вся компания шла к учителю пить кофе.

— В тысяча восемьсот пятьдесят втором году было семьдесят два миллиона! — отвечал тот.

— Теперь уж, наверно, до ста миллионов дошло, — замечал бай Мичо.

— А Петербург — большой город?

— Одна из первых европейских столиц.

— А в Царском селе... там царь живет?

— Да, летом.

— Какое же это село? Это, наверно, огромный дворец! — говорил бай Петр.

— А сколько у России войска? — с наслаждением продолжал свои расспросы бай Мичо.

— В военное время она может миллион храбрых солдат выставить.

— Великая сила, боже мой! — восклицал бай Минко.

— Ошибаешься: Россия может пять миллионов войска против Турции двинуть! — пылко возражал бай Мичо.

— Весь русский народ может подняться, как в тысяча восемьсот двенадцатом году против Наполеона и всей Европы! — с воодушевлением говорил учитель Климент. (Как только заходила речь о России, учитель, всегда флегматичный, сразу загорался и начинал читать оды Державина или Ломоносова.)

— Турция дня не продержится! — кричал бай Мичо.

— России провидение судило завоевать Царьград! — говорил, бледнея от волнения, учитель и начинал декламировать стихи Хомякова⁶²:

Высоко ты гнездо поставил,

Славян полунощный орел.

Широко крылья ты расправил,

Высоко в небо ты ушел!

— Это и Мартын Задека предсказал: «Константинополь, столица султана турецкого, взят будет без малейшего кровопролития. Турецкое государство вконец разорят, глад и мор будет окончанием сих бедствий, они сами от себя погибнут жалостнейшим образом!» — торопливо, взволнованно читал бай Мичо, стуча пальцем по столу.

Учитель декламировал дальше, рубя воздух рукой:

И ждут окованные братья,

Когда же зов услышат твой,

Когда ты крылья, как объятья,

Прострешь над слабой их главой.

Бай Мичо продолжал, встав с места:

62 Хомяков — А.С. Хомяков (1804–1860), один из основоположников и идеологов славянофильства, публицист, поэт и общественный деятель.

— «О Гданьск! Град достохвальный, почитающий бога и пребывающий верным своему государю! Ты взойдешь на высокую степень знатности, которой вся Европа удивляться будет. Но вы, несчастные турки! Греческий Вейсенбург⁶³ и всю Венгрию добровольно оставите. На несколько времени вы от взора всех скроетесь. Мечети ваши разорены, а идолы ваши и алкоран⁶⁴ вовсе истреблены будут. Магомет! Ты восточный антихрист! Время твое миновало, гробница твоя сожжена, и кости твои в пепел обращены будут... Лилия, — я говорю о Франции...»

О вспомни их, орел полночи!

Пошли им звонкий твой привет! —

с трагическим видом продолжал учитель Климент...

И этот стихотворно-прозаический диалог двух разгоряченных патриотов, доводящий слушателей до величайшего исступления, продолжался до тех пор, пока звонок не возвещал начала занятий в классе.

Сегодня бай Мичо был немного мрачен, так как гость его, чорбаджи Николаки, большой туркофил, противоречил ему, восхваляя Англию. Напрасно бай Мичо горячился и запальчиво кричал: чорбаджи Николаки невозмутимо дымил чубуком, уверяя лукаво, что турецкая армия во всем превосходит русскую и что она обучена по прусской системе. На это бай Мичо раздраженно ответил, что на Турцию одних удальцов Хаджи Димитра хватит, чтобы ее со всеми прусскими системами в Мекку загнать. Но беспощадный Николаки презрительно заметил, что удальцы эти — бродяги, которые при виде двух ахиевских читаков⁶⁵ разбегутся. Тут бай Мичо завопил, что этими «бродягами» командуют русские генералы и что...

Вдруг дверь открылась. Вошел Миал-пандурин и пригласил бая Мичо в конак, сообщив, что бей вызвал туда и других чорбаджий для суда над Варлаамом за его комитетские дела. Когда пандурин ушел, чорбаджи Николаки злорадно заметил:

— И такие вот пентюхи, как Варлаам, собираются уничтожить пятивековое турецкое владычество! Совсем голову потеряли...

— Николаки! — заревел бай Мичо, позеленев от злости. — Иди к черту! Было время, господь, чтоб весь мир изменить, рыбаков да пастухов своим орудием избрал, а не таких, как ты, ослов-философов!

И быстро вышел, повергнув гостя в страшное смущение и растерянность.

XXII. Владелец «мексиканки»

63 ...греческий Вейсенбург — Белград, названный «греческим», иначе говоря христианским городом, находящимся под властью мусульман-турок.

64 Алкоран, или Коран — священная книга мусульман, запись речений и поучений Магомета.

65 Читок — презрительное наименование турок.

В конаке, под навесом у фонтана, сидели рядом на покрытой циновками лавке знатные горожане и чорбаджии, созванные агой⁶⁶ (так звался главный представитель султана в этом городе) по весьма важному и тревожному поводу, а именно, по делу Варлаама Копринарки Тарильома, уличенного в распространении бунтовщических прокламаций.

Ага (это и был бей) с длинным янтарным мундштуком в зубах сидел в почетном углу на мягком тюфяке; возле него, как всегда, стоял ореховый ларец, в котором находились пузатая фарфоровая чернильница, тростниковые перья и бумага.

Он был уже старик, одряхлевший от долголетнего употребления водки и опиума, большеголовый, маленького роста, тощий и с совершенно белой бородой. Продолговатое сухое лицо его, цветом и видом своим сразу выдававшее азиата, было изборождено крупными морщинами и изъедено оспой. Глаза, мутные, серые, скрывались за опухшими веками. Широкие ноздри крупного, горбатого, нависшего надо ртом носа почернели от нюхательного табака; усы по той же причине были темно-желтого цвета. В трезвом состоянии или когда тоска брала за сердце, он выходил из конака в одной жилетке и бродил по площади, обращаясь с вопросами к каждому лавочнику (этот благородный обычай он заимствовал от одного визиря⁶⁷), либо усаживался на плетеном стуле против цирюльни Хаджи Ахилла, который громко ругал по-болгарски и его самого и его пророка, а бей, ничего не понимая, громко смеялся остроумным шуткам брадобрея.

Как уже сказано, бей, несмотря на свое высокое звание, отличался простотой обращения; всякий раз, встретив на улице юродивого Досю, он его останавливал, добродушно расспрашивал о том о сем и подавал ему пятак. Называл он его обычно «сынок». Не менее человеколюбиво относился он к собакам, которые бегали за ним по два десятка зараз: он вел их к мясной лавке, отрезал, не спрашивая хозяина, лучший кусок от бараньей шеи и кидал им (предварительно разрубив его на части, чтобы они не ссорились) со словами:

— Кушайте, детки!

На этом основании покойный о. Никофор говорил с умилением:

— Бей, хоть и неверный, а гораздо милосердней к своим ближним, чем болгарин.

По этой же причине он приобрел большую популярность у населения, и дети смело подходили к нему поглядеть на янтарный мундштук у него во рту. А он отечески ободрял их:

— Молодцы, ребятки!

Он даже позволил однажды чорбаджиям в Иванов день окунуть его всего, как есть, одетого, в бассейн источника на городской

⁶⁶ Ага (турец.) — господин.

⁶⁷ Визир, или везир (арабско-турец.) — высший правительственный чиновник в турецкой империи, премьер-министр.

площади и смеялся от холода и удовольствия, а они потом устроили в честь его богатый пир. Когда же онбаши осмелился почтительно заметить бею, что его поведение может повредить ему в глазах окружающих, тот сердито оборвал его:

— Молчи, собака: это полезно для здоровья!

А однажды он забил насмерть богатого турка Эмексиз-агу за то, что тот прошел вооруженный по болгарскому кварталу.

Он любил чистоту, но на особый лад: то, что площади были полны навозных куч, а канавы — помоев, не вызывало с его стороны никаких возражений. Зато летом он приходил в бешенство при виде арбузной корки, и кто ему тогда ни попадался — чорбаджия, священник, учитель или турок, кто бы ни был, — он приказывал ему поднять ее и отнести на край города, к тутовым деревьям Базайта. Как-то раз он заставил это сделать ученомудрого деда Иоси, и тот стал с тех пор заклятым врагом султана! Такого рода приказания всеми исполнялись, так как в противном случае палка из дерева финиковой пальмы, привезенная беем из Мекки (почему Хаджи Смион называл ее «мексиканкой»), лихо отплясывала на спине непокорного.

Бей ненавидел шатающихся по ночам пьяниц и беспощадно избивал их «мексиканкой»; поэтому и подчиненные его были на этот счет очень строги. Как-то раз жандармы, делая ночной обход, нашли в одном темном тупике валяющегося пьяного. Они растолкали его и заставили встать. И вдруг с ужасом узнали своего собственного начальника, бея! С тех пор Бойчо Знайников стал называть его «новым Гарун-аль-Рашидом».

Но этот Гарун-аль-Рашид был свиреп, когда приходил в себя после трехдневного пьянства. Он сгонял во двор конака мелких недоимщиков и приказывал дать каждому двадцать пять ударов кизиловой палкой по пяткам, так как от криков несчастных у него быстрее проходило похмелье. А захваченные во время какого-нибудь непристойного ночного похождения должны были в двадцать четыре часа жениться; в противном случае их ждал пучок розог, всегда погруженный в бассейн фонтана! Но вот что однажды произошло: какой-то проезжий иностранец оказался вынужденным, по рекомендации самого бея, жениться на одной старой деве; однако вскоре выяснилось, что у него благополучно здравствуют жена и четверо детей. Это недоразумение очень насмешило бея, и он поспешно развел молодых, подарив «новобрачной» двадцать локтей ситцу.

Бей был весьма справедливым судьей, и если дело попадалось запутанное, беспощадно выгонял при помощи «мексиканки» обоих тяжущихся. Особенно выводило его из себя, когда тот или другой из них напоминал ему какую-нибудь статью кодекса, который постоянно находился при нем в ореховом ларце; в таких случаях он вставал со своего места и приглашал тяжущегося сесть на это место самому.

— Прошу, челеби! Коли ты знаешь лучше меня, — прошу!

И когда тот отказывался от этой высокой чести, бей кричал ему:

— Пошел вон, скотина!

Но ни разу до сих пор, — ни когда он был офицером полиции в Мосуле, ни когда служил в Кирк-Клисие или в Требинье, — не случилось ему разбирать дела политические. Он совсем растерялся, когда в тот день, после обеда, к нему прибежал запыхавшийся Селямсыз и показал прокламацию Варлаама Копринарки, объяснив, что сорвал ее с ворот последнего, куда ее приклеил сам Варлаам, чтобы взбунтовать народ. А когда онбаши в связи с этим сообщил, что он проведаль о присутствии и в этом городке «комит»⁶⁸ из Бухареста, бей страшно рассердился; он приказал сейчас же вызвать в конак всех знатных людей города и привести под стражей распространителя прокламаций, а доносчика запереть на замок. Онбаши, рассмотрев прокламацию, стал всюду рассказывать, что на ней между прочим изображен Тотю-воевода.

XXIII. Судбище

Под навесом, где собрались знатные граждане города, царило глубокое молчание. Рядом с беем сидел толстый, брюхастый чорбаджи Карагьозоолу, производивший при ходьбе впечатление сдвинувшейся с места горы.

Рядом с Карагьозоолу торчал длинный, сухопарый дед Матей — «лукавый раб», как его называли, — распевавший во время прогулок церковные песнопения и дважды объявивший себя банкротом.

Возле чорбаджи Матея поместился тучный чорбаджи Койчо, которого давно прогнали с должности кьой-векила⁶⁹, что не помешало ему сохранить положение чорбаджии и целые дни торчать в конаке. «Мне еда не в еду, пока не понюхаю, чем в конаке пахнет», — говорил он. Койчо был толстобрюх, все время потел и превосходно плясал «кючек-уюну»⁷⁰.

Возле него — чорбаджи Бейзаде в широких шароварах и с очками на носу.

Дальше сидел чорбаджи Гердан в брюках европейского покроя, худой, длинноусый, мастер верховой езды, от которого всегда пахло лошадью. Разговаривая, он зверски тарасил глаза на собеседника, словно хотел сказать ему: «Ложись, я тебя зарежу!»

Рядом с ним расположились безбрежные шаровары. Маленький, худенький человек, которому они принадлежали, звался дед Димо Лисица; он печально глядел на небо, задумчиво посасывая свою трубочку. В церкви он всегда стоял в стороне от других. Ходили скверные слухи, будто в свое время он был большим кровопийцей,

68 Комиты — турецкое наименование членов тайных революционных комитетов в Болгарии; в широком смысле — бунтовщики, революционеры.

69 Кьой-векил (турец.) — сельский уполномоченный для сношения с турецкими властями.

70 Кючек-уюну (турец.) — турецкий танец.

жирел потом бедняков; но по лицу его это не было так заметно, как у чорбаджи Койча.

С краю сидел Димитр Текерлек, или попросту «Мите». Он стал чорбаджией недавно и все потирал руки, улыбаясь, а когда на него падал взгляд бея, кивал и говорил:

— Да, эфенди!

Против перечисленных сидел другой ряд. Тут можно было видеть рыхлую и опухшую физиономию Цачо Курте. Он ходил в жеваном грязном фесе, собирал в родительскую субботу хлебцы и кутью, чтобы накормить своих детей, брал для них в мясной лавке требуху — и все думали, что он берет ее для кошки. У него был всего-навсего один миллион.

Был тут чорбаджи Фратю (не смешивать с господином Фратю), которого шестнадцать лет тому назад проездом через город посетил филибейский паша. Чорбаджи Фратю до сих пор живет воспоминаниями об этом славном событии и ведет от него свое собственное летосчисление:

— Эту гнедую кобылу я купил за год до приезда Джемал-паши.

— Николчо родился у меня через два месяца и три дня после посещения Джемал-паши.

— На эти сапоги я поставил подошвы, еще когда мы готовились к встрече Джемал-паши. Прочные оказались.

Затем — Павлаки, ожидающий, когда бей отвернется в другую сторону и можно будет пробормотать два-три слова, чтобы потом опять спрятаться за спину чорбаджи Фратю. У него раскормленная, упитанная физиономия, янтарный мундштук и очень смутное понятие о совести.

— Как жаль, что учитель Калист — такой ученый и честный человек, а совести не имеет, — говорил он о прежнем учителе, подразумевая под словом «совесть» денежные средства, состояние.

Затем — Хаджи Иван Карабурун, первый чорбаджия, чья порыжевшая зеленая куртка побывала два раза у гроба господня и пятьсот раз — в суде. По этой причине позапрошлогодний кадия при виде человека в зеленой куртке начинал трястись, как в лихорадке. Но справедливость требует отметить, что Хаджи Иван никогда не приносил в суде ложной присяги, кроме как однажды — из-за мешка с овсом.

Далее — Хаджи Енчо, бессменный школьный попечитель, имевший голос Полифема, но не знавший риторики. Это не мешало ему быть ревнителем славы школы. Однажды, присутствуя на уроке риторики, он слышал, что сын его Нечко, которому учитель велел привести образец противопоставления, произнес:

— Эта школа либо будет еще более процветать, либо погибнет.

— Врешь, сукин сын! — заорал взбешенный родитель, оглядывая стены. — Пока я жив — не погибнет! Каждый год две тысячи грошей на ремонт тратим!

Далее — Хаджи Цолю Пискун, церковный староста, великий

чревоугодник, весь день торчащий возле мясной лавки. Он крал церковные деньги и с виду был похож на большую винную бочку, так что о. Ставри не без основания отказывался верить, чтобы Хаджи Цолю мог пройти сквозь тесные райские врата.

Посреди собрания стоял Варлаам в толстых чулках и без пояса: он был схвачен внезапно, во время послеобеденного сна.

За ним, ближе к входу, стоял Селямсыз.

Позади толпились многочисленные зрители: жандармы и народ.

Бей с торжественным видом положил свой янтарный мундштук на блестящий ореховый ларчик, надел очки и развернул большую исписанную бумагу.

Наступило мертвое молчание.

Бей подал бумагу соседу:

— Читай, чорбаджи!

Карагьозоолу, до тех пор стоявший на одном колене, встал на оба, покорно поклонился и, сложив руки на груди, сказал:

— Простите, бей-эфенди, не могу. Увольте!

Бей протянул бумагу следующему... Но дед Матей поправил полу кожуха, смиренно опустил глаза и промолвил:

— Простите, бей-эфенди, глаза мои да не увидят этого. Увольте.

— Чорбаджи Гердан! — обернулся бей к тощему чорбаджи с умным взглядом. — Взгляни, что тут такое!

Чорбаджи Гердан с самым покорным видом преклонил колени и, сделав глубокий поклон, ответил:

— Такие вещи руки жгут, бей-эфенди. Избавьте меня.

И поклонился еще раз.

Бей обратился к Бейзаде, но тот отговорился тем, что забыл дома очки для чтения.

— Так кто же прочтет мне эту пакость? — воскликнул бей.

Тут взгляд его упал на сидевшего против него чорбаджи Фратю, который в эту минуту как раз надевал очки.

— Прощу, чорбаджи! — промолвил бей.

Чорбаджи Фратю поспешно снял очки, спрятал их в футляр и ответил с обычным поклоном:

— У меня двое маленьких детей, бей-эфенди. Если б меня спросили: «Что же ты неграмотными их оставил?» — я бы ответил: «Чтоб они такой лжи читать не могли». Увольте меня!

— Ну, так ты, — обратился бей к чорбаджи Павлаки, заметив, что тот прячется за плечо чорбаджи Цачко. Но Павлаки тоже отказался.

Бей сердито нахмурился.

Карагьозоолу снова принял почтительную позу.

— Пусть читает тот, кому она понадобилась, бей-эфенди, — предложил он.

Бей встретился взглядом с Варлаамом.

Но тот стоял как каменный, уставившись на нос бею.

Чорбаджи Цачко шепнул что-то чорбаджи Павлаки, а тот — чорбаджи Фратю. Чорбаджи Фратю одобрительно кивнул.

— Не позвать ли учителя, бей-эфенди? — сказал он. — Ведь это его обязанность.

— Позвать, позвать, учителя Гатю! — воскликнули все единогласно.

Получив согласие бея, Карагъзоолу распорядился:

— Гасан-ага! Пойди приведи сюда учителя Гатю.

Бей аккуратно сложил прокламацию, положил на нее табакерку и с удивлением поглядел на Варлаама.

— Как твое имя, чорбаджи?

— Фарлам.

— Копринарка, — прибавил Карагъзоолу.

— Тарильом! Полное имя говори, — проворчал Селямсыз.

— Откуда ты взял эту бумагу, сынок?

Варлаам не ответил.

Карагъзоолу, сделав глубокий поклон, прошептал:

— Вы позволите?

Бей кивнул в знак согласия.

— Его милость плохо понимает по-турецки, бей-эфенди... Разрешите слуге своему предложить ему несколько вопросов.

Бей кинул на Варлаама свирепый взгляд.

— Не знает турецкого? Значит, эта скотина из Румынии?

— Нет, бей-эфенди, он всегда жил в царстве султана.

— В царстве султана? — переспросил бей с изумлением; потом уже спокойно прибавил: — Ну да, понятно. Кто враг султану — тот враг и его языка. Негодяй!

— Да, да, — прошептал чорбаджи Цачко, машинально снова надевая очки.

Карагъзоолу вздохнул, наклонил голову, подумал и торжественным тоном начал:

— Варлаам, бей спрашивает: от какого комитета получил ты прокламацию?

Видя, что к нему обращается болгарин, Варлаам немного приободрился, подтянул выпачканными в краске руками штаны и смущенно ответил:

— Что я скажу тебе, чорбаджи? Старые люди говорят: лучше пусть змея заползет за пазуху, только бы зло не входило в дом. А мне теперь что сказать? Придет к тебе кто-нибудь, а кто — неизвестно! В глаза его никогда не видал, а он, ни слова не говоря, ни доброго, ни худого, и тебя не спросит... Как ты узнаешь — что у него на душе? Понятное дело, человек. Да люди разные бывают. Один плохой, другой хороший. Только пословица-то говорит: добра днем с огнем поищи, а зло в каждом доме живет. Так вот и с Фарламом вышло.

И он отер рукавом пот со лба. Бей вопросительно поглядел на Карагъзоолу. Карагъзоолу взглянул на Варлаама с недоумением, потом спросил:

— Тебя не об этом спрашивают, а от кого ты прокламацию получил?

— Говори откровенно, Варлаам, — вставил Мичо Бейзаде.

Варлаам окинул их бесстрастным взглядом.

— Кто мне дал ее? Хороший вопрос! Кто подарок прислал, мне не назвался. Спросили черта: «Как тебя звать?» — «Черт», — говорит. «А как окрестили?» — «И окрестили чертом». — «А кто крестил?» — «Сатана».

Дед Матей нахмурился, громко высморкался и строго заметил:

— Тебя, сударь, о другом спрашивают: кто дал тебе эту бумагу? Пойми!

— А я откуда знаю? Ежели кто тебе с дороги в сад просто початок кукурузный либо, скажем, какой предмет заколдованный кинет, а потом тебя спросят: как его звать, — что ты скажешь?.. Не знаю.

— Знаешь, знаешь прекрасно! — проворчал Селямсыз.

Бей поглядел на Карагъозоолу. Тот пожал плечами.

— Ты хочешь сказать, — снова начал он, — что тебе подкинули бумагу во двор или сунули в карман так, что ты даже не заметил?

— Ну да, ну да, во двор подкинули. Кто? Не знаю. Когда? Нынче после полудня.

Карагъозоолу передал объяснение Варлаама бею.

— Знаешь, знаешь, прекрасно знаешь, — опять злобно проворчал Селямсыз.

— Ты, Селямсыз, не перебивай! — строго сказал Карагъозоолу.

— Молчи, пока не спрашивают. Когда спросят, тогда и отвечай, — прибавил Мите.

Карагъозоолу снова обратился к обвиняемому:

— Ладно. А, найдя ее у себя во дворе, ты прочел ее? Понял, о чем там говорится?

— То есть развернул ее? — прибавил дед Матей.

— Спросите у глиняного кувшина моего: понял Фарлам что-нибудь? Он вам расскажет...

— Как это не понял? Ты не понял? Подлый! А зачем ее к воротам приклеил? — заревел Селямсыз, которому не терпелось поскорей увидеть, как Тарильома повесят в винограднике.

— Молчать, Селямсыз! — свирепо одернул его Текерлек.

Карагъозоолу продолжал допрос:

— Ну хорошо, не понял. Пускай. А почему же, не поняв, на ворота приклеил?

Варлаам поглядел на него удивленно.

— И на этот вопрос Фарлам даст ответ, — сказал он.

Потом, повернувшись к Селямсызу и окинув его презрительным взглядом, прибавил:

— Откуда мне было знать, что это — прокламация. Я портрет узнал, ради портрета и приклеил. Коли погрешил, скажите и докажете.

— Портрет Тотю, — шепнул чорбаджи Фратю своему соседу Павлаки.

— Да, да, Тотю-воеводы, — подтвердил тот.

— А ты знаешь, чей это портрет? — продолжал Карагьозоолу, скривив лицо и почесывая левую щеку.

Варлаам поглядел с удивлением сперва на него, потом на Селямсыза.

— Спросили монаха: знаешь черта в лицо? Ну, как не знать. Понятно, знаю...

— Совсем запутался, бедняга! — шепнул чорбаджи Фратю.

— Плохо его дело, — подтвердил Павлаки.

Карагьозоолу наклонился к бею и сказал ему что-то на ухо.

— Несчастный гяур⁷¹, — промолвил бей, глядя на Варлаама с иронически-сострадательной улыбкой.

Увидев эту улыбку, чорбаджи и почли своей обязанностью тоже улыбнуться.

— Ты говоришь, Варлаам, что хорошо знаешь, чей это портрет... Так мы тебя поняли? — спросил Карагьозоолу, не веря такой неслыханной наивности.

Варлаам снова устремил взгляд на Селямсыза.

— Чего на меня уставился? Им отвечай! — буркнул тот.

— Селямсыз, не суйся! И давно знаком ты с этим человеком, Варлаам?

— С детства, чтоб ему пусто было!

— С детства?

— Ну, конечно. Среди тысячи бродяг вслепую найду его, мерзавца!

При слове «мерзавец» все прикусили губы.

— Пропал, горемычный. Жену жалко, — сказал чорбаджи Фратю.

Павлаки кивнул в знак согласия.

Карагьозоолу довольно долго совещался с беем.

— Ночевал он у вас когда-нибудь?

— Он-то? — спросил Варлаам, кидая кровожадный взгляд на Селямсыза.

— Да кто тебя спрашивает про Селямсыза? — воскликнул дед Матей.

— Дайте я с ним поговорю. Слушай, Тарильом! — закричал Селямсыз, рванувшись к нему. Но жандармы его удержали.

Слово взял чорбаджи Фратю:

— Что это такое, Варлаам? Ты все путаешь: тебя про одно спрашивают, а ты про другое отвечаешь.

— Уставился на меня кошачьими глазами своими, — промолвил Селямсыз.

— Слушай теперь внимательно, о чем мы тебя спрашивать будем, — вмешался чорбаджи Цачко. — И что услышишь, на то и отвечай! Дурака валять нечего: с тобой люди, а не бараны разговаривают. Мы тебя спрашиваем: коли ты знаешь, кто на этом портрете... как видно...

71 Гяур (арабско-турец.) — неверный, христианин, европеец.

Чорбаджи Цачко смешался и замолчал, не желая произносить имя Тотю-воеводы.

— Да как же мне его не знать? — воскликнул в отчаянии Варлаам. — И вы все его знаете! И вы и я! Кто же не знает этого смертоубийцу?

Тут он показал на Селямсыза.

Того взорвало: он стал на чем свет стоит ругать Варлаама, страшно раскричался, упомянул, какую подать платит султану и сколько ртов кормит. В заключение он предложил, чтобы Тарильома тотчас же повесили, и выразил готовность уплатить за веревку.

Между тем Карагъзоолу, смеясь, тихо объяснил бею, что Селямсыз сердится потому, что Тарильом отождествил его наружность с портретом Тотю-воеводы на прокламации. Бей, улыбаясь, взял в руки прокламацию, чтобы повнимательней рассмотреть изображение страшного партизана.

XXIV. Сцена, в которой последнее слово принадлежит «мексиканке»

Вдруг толпа раздвинулась, пропуская учителя Гатю.

— Прочти нам эту бумагу, — сказал бей с сардонической улыбкой, подавая ему прокламацию.

Воцарилось молчание. Лицо учителя под безобразно нахлобученным фесом Хаджи Смиона, и без того бледное, теперь совсем побелело. По дороге в конак у него было время сообразить, что бей не может требовать его только из-за речи. Наверно, обнаружено кое-что посерьезней. Услыхав многозначительные слова бея и увидев помощника учителя Мироновского, которого тоже привели сюда, страшно перепуганного, он решил, что самые худшие его опасения оправдались.

Он взял бумагу. Она задрожала у него в руках. Он долго в нее всматривался, словно не веря своим глазам. Потом выражение лица у него стало немного спокойней, и даже улыбка заиграла на еще бледных губах.

Все глядели на него с сильно бьющимися сердцами.

Бей страшно выпучил глаза.

Учитель Гатю поднял глаза от бумаги и оглядел присутствующих. Вдруг взгляд его упал на Селямсыза, он засмеялся.

— Ну вот, и этот на меня уставился, будто проглотить хочет! — пробормотал Селямсыз в отчаянии.

Все вперились в него и захохотали без всякой видимой причины. Он начал с удивлением озираться, думая, что, может, смеются над кем другим. Смех стал громче. Засмеялся даже изумленный бей. Тут поднялся общий хохот, в котором громче всего слышался протодьяконский голос Варлаама.

— Скажи, учитель, что там написано и чей это портрет? — спросил Карагъзоолу, когда смех утих.

— Это портрет бая Ивана Селямсыза, — ответил учитель, глядя с усмешкой на злополучного обвинителя.

— А Фарлам что говорил? — вне себя от радости воскликнул Копринарка.

Селямсыз заревел от бешенства, осыпая Варлаама обвинениями в бунтовщичестве и желании погубить его, Селямсыза, поместив его портрет в «прокламации».

— Какая прокламация? Это сатира! — сказал с удивлением учитель.

Это слово все знали, так как в то время часто под названием «сатира» распространялись всякие пасквили.

Но Селямсыз зашумел, как буря: весь конак задрожал от его крика. Он требовал, чтобы Варлаама повесили. Тут все встали с мест и, окружив бея, стали заглядывать в листок, где среди текста был изображен в карикатурном виде человек, очень напоминающий Селямсыза, верхом на гусе; под изображением крупными буквами стояло: «Селямсызу, попечителю школьному — многая лета!»

— Бей-эфенди! — кричал Селямсыз. — Я требую правосудия!.. Тарильом честь мою запятнал, на гуся посадив. Я девятнадцать ртов кормлю, до нынешнего дня восемь драконов уморил и не желаю, чтобы меня не то что на гусе, а даже на осле изображали!.. Нет, вы поглядите: он еще смеется. Да что же это такое? Его сюда для потехи привели или вешать?

Карагъозоолу сделал Селямсызу знак рукой, чтоб он замолчал.

— Пойми, Селямсыз, Варлаам не писал этого.

— Как не писал? Кто не писал? Он не писал?

— Смотри: на другой стороне и про него написано. Ведь это он верхом на вальке изображен... Вот, слушай, что про него пишут: «Тарильом, попечитель школьный — господь ему на помощь!»

— Как? Неужели правда? — осклабившись до ушей, воскликнул Селямсыз и впился глазами в листок. — Ну да, это Тарильом, Тарильом! Какая морда! На дохлую козу похож...

Узнав себя на карикатуре, Варлаам кинул на Селямсыза зверский взгляд и скрылся в толпе.

А Селямсыз, оглашая весь двор громким хохотом, жал руку всем присутствующим чорбаджиям. Но бей, которому вся эта комедия в конце концов надоела, напустил на него свою «мексиканку». Тут Селямсыз понял, что судопроизводство окончено, и поспешил оказаться за воротами конака.

Однако не успел он дойти до корчмы Мирко, поздоровавшись всего-навсего с восьмью встречными, как его догнал жандарм, объявивший ему, что, по распоряжению бея, он должен эту ночь просидеть под арестом.

С Варлаама же только взяли подписку о верности султану.

Сатира была написана приказчиком из лавки Иванчо Йоты. Сам Иванчо только продиктовал текст и нарисовал фигуры. Случайно Селямсыз вышел очень похожим на Тотю-воеводу, как его изображали

проникавшие и в этот город бунтарские листки.

Эпилог

Утром кофейню Джака наполнили обычные ее посетители; все разговоры вертелись вокруг вчерашних необычайных событий, которые взволновали весь город. Иванчо Йота, теперь уже успокоившийся, с победоносным видом похлебывая кофе, рассказывал присутствующим о своем бегстве с Хаджи Смионом, опуская лишь некоторые подробности, вроде кораблекрушения и страха, вызванного появлением Мунчо. Хаджи Смион, сидя напротив, подтверждал рассказ Иванчо кивками. Только относительно змеи произошло небольшое разногласие: Иванчо уверял, что длина ее составляла один локоть и два с половиной рупа⁷², а Хаджи Смион утверждал, что змея была примерно с кишку наргиле, которое курит дед Нистор. Но серьезный спор возник по вопросу о том, кому принадлежит честь победы, которую Хаджи Смион приписывал себе.

— Камнем по голове хватить любая бабка сумеет. А ты попробуй рукой возьми, — сказал он Иванчо. И, повернувшись к Ивану Капзамалину, шепнул ему: — Йота скрывает, что в реке весь вымок, как мышь. Я тебе после расскажу. Он страшно трусил.

Потом, нагнувшись и перебирая четки, словно вспомнив о чем-то, он пробормотал себе под нос:

— Ах, черт бы побрал этого Мунчо!

— Ты-то чего бегал? — сердито спросил Иван Капзамалин.

Хаджи Смион немного смутился, но ответил:

— Ах, кабы не этот фес, — понятно, не убежал бы. Да я и не бегал, а просто ушел в горы. Я ведь американец, ты знаешь... А Йота — такой трус, не приведи господи...

И он опять кинул на Иванчо полный сожаления взгляд.

В это время между владельцем кофейни и некоторыми посетителями шел разговор о сатирах.

Гадали о том, кто бы мог быть их автором; дед Нистор ругал его на чем свет стоит.

— Свинство! — строго промолвил о. Ставри.

— Глупость болгарская! — пробормотал Хаджи Христо Молдава, голову которого владелец кофейни, он же и цирюльник, в это время намыливал.

Но Иванчо Йота не слышал этих обидных отзывов о своем произведении и не замечал предательских нашептываний Хаджи Смиона: он погрузился в размышление о вчерашних событиях, которые решил подробно описать в особой повести, и уже подыскивал для нее подходящее название.

Чорбаджи Николаки, до тех пор молча сидевший в

⁷² Руп (арабско-турец.) — мера длины, 1/8 аршина.

противоположном углу, посасывая свой чубук и обводя присутствующих серьезным взглядом, вдруг вынул трубку изо рта и повернулся к Мичо Бейзаде:

— Я вчера говорил тебе, Мичо: от таких варлаамов не жди добра! Посмешищем станем!

— Попечители! Позор для болгарского народа! — поддержал Йота.

Мичо Бейзаде, еще со вчерашнего дня сердитый на чорбаджи Николаки, вскипел. Имя Варлаама послужило сигналом к началу дискуссии по восточному вопросу.

Чорбаджи Николаки стал восхвалять силу турок, упорно отстаивая свой взгляд. Бай Мичо энергично возражал ему. Голос Мирончо разносился далеко за пределами кофейни. Не меньшую отвагу обнаруживал и Хаджи Смион, видевший русских в 48 году в Бухаресте. Даже владелец кофейни, оставив намыленную голову Хаджи Христо, ругал турецкую власть. Но и чорбаджи Николаки имел сильных союзников, среди которых наибольшей яростью отличался Иван Стамболия, посетивший в Царьграде Топхане. К ним относился и Хаджи Атанасий, который из любви к греческим церковным песнопениям терпеть не мог столь любезного для Мирончо восточного вопроса. Однако последний предусмотрительно воздержался от полемики, опасаясь, как бы спор не вызвал какого-нибудь «накаления атмосферы», и благоразумно принялся водворять мир. Но напрасно. Бай Мичо Бейзаде был вне себя: среди общего крика и гвалта он громил Турцию и чорбаджи Николаки, не заметив в азарте, как отворилась дверь и в кофейню вошел онбаши. Мгновенно воцарилось молчание; турок сел; все склонились перед ним в поклоне. Бай Мичо быстро встал прямо перед онбаши, тяжело дыша и устремив на него свирепый взгляд.

— Говорю тебе, Мичо, — вдруг раздался среди гробовой тишины тонкий голос Хаджи Атанасия. — До малого поста только три недели осталось, — об заклад готов биться на что хочешь. Не спорь зря.

— Да, да, — поддержал сообразительный Хаджи Смион, скидывая левый башмак и ласково глядя на онбаши.

20 августа 1884, Сопот